ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК

1

«ЭХО»

Регенсбург, 1948 г.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

СБОРНИК

1

«ЭХО»

Регенсбург, 1948 г.

Авторы: О. Анстей, И. Елагин, А. Неймирок, Г. Андреев, Н. Вартанов, О. Краснопольский, Д. Стайнбек, А. Горностаев, В. Марков, Р. Менский.

Редактор: Р. Менский

О «ЛИТЕРАТУРНОМ СБОРНИКЕ»

«Литературный Сборник» издается с определенной целью. Это не журнал, выходящий периодически и не книга. То, что данное издание является «Сборником I-м», с очевидностью свидетельствует и о том, что в дальнейшем должны появиться последующие его номера.

«Литературный Сборник» — по сути дела, Альманах, который будет непериодически издаваться, по мере накопления материала.

Задачи поставленные перед «Литературным Сборником», в достаточной мере ответственны. Среди российской эмиграции часто раздаются голоса о том, что мало у нас талантливых писателей, поэтов, литературных критиков, журналистов, что в послевоенные годы эмиграция не дала почти ни одного крупного произведения.

Мы не будем вступать в дискуссию по этому вопросу. Подчеркнем лишь, что это явление зависит не столько от наличия или отсутствия писательских сил, сколько от тех политических, моральных и отчасти экономических причин, которые явно мешают расцвету творчества нашей интеллигенции.

Но, тем не менее, творческая активность деятелей российской литературы за рубежом неуклонно растет. При этом количественное увеличение изданий прошлых лет постепенно начинает заменяться серьезным качественным ростом. «Литературный Сборник» должен включить в себя наиболее доброкачественные, с идейной и художественной точек зрения, литературные произведения, создающиеся в российском рассеянии. Наряду с чисто художественными произведениями, в «Литературном Сборнике» будут печататься научные и критические статьи, а также библиографические материалы, посвященные самым разнообразным вопросам истории и теории литературы.

Конечно, в существующих условиях, при самых раз-

нообразных издательских возможностях, открывающихся перед нашими деятелями литературы, не легко добиться такого положения, когда редакция «Литературного Сборника» будет всегда располагать, именно тем материалом, который она хотела бы иметь. Поэтому ей придется итти путем выбора и относительной оценки, тех произведений, которыми она располагает. Но нам кажется, что и при этих условиях, наше начинание окажется полезным и откроет еще одну постоянную возможность для выявления творческих писательских сил и для широкого ознакомления читателей с их произведениями.

Наряду с этим, «Литературный Сборник» ставит также задачей, по мере возможностей, хотя бы в небольшом масштабе, давать наиболее интересные образцы иностранной литературы (особенно литературы Нового Света), снабдив их соответствующим литературно-критическим материалом.

Исходя из этих установок, в первом «Литературном Сборнике», мы даем, прежде всего, четыре рассказа, имеющих, с нашей точки зрения, несомненный интерес. Рассказы О. Анстей и Г. Андреева посвящены советской действительности. Рассказ Н. Вартанова — «Однажды ночью» — идейно-насыщенное, художественное отображение, одного из эпизодов второй мировой войны. Наконец, рассказ О. Краснопольского, как бы логически заканчивает эту последовательную нить, в кратком драматическом эпизоде, связанным с пребыванием наших людей в немецком плену.

Снабженный краткими комментариями В. Маркова, в сборнике помещен чрезвычайно любопытный образчик творчества американского писателя Д. Стайнбека — его рассказ «После суда линча».

Во второй половине книги мы помещаем критические статьи, посвященные русской и иностранной литературе. Авторы высказывают в них ряд интересных, а иногда и весьма спорных положений; последнее особенно заметно в статье, посвященной творчеству Н. А. Некрасова.

Мы не будем касаться сейчас этих спорных положений, предоставляя авторам право безусловной свободы творчества.

В последующих сборниках мы постараемся изложить

точку зрения редакции по ряду вопросов теории и истории литературы, подвергнув ее широкому обсуждению.

Заканчивая эти краткие замечания о «Литературном Сборнике», мы полагаем, что несмотря на отдельные, быть может, подчас и существенные промахи, наше начинание все же окажет помощь в деле интенсивного развития, столь нужной нам литературы российского Зарубежья.

Доцент Д. Воскресенский

О. Анстей

ОТЧИЙ ДОМ

Свидетельство от врача . . Справка от домоуправления . Контора Загса . Похоронное бюро Гроб Место на кладбище И всюду надо поспеть, и все одной. Посидеть и поплакать некогда – думала Таля, когда началась панихида.

Тоненькие худосочные свечи, оплыв, превратились в бесформенные комочки: отец Александр, как всегда, служил долго. Светясь, спотыкаясь и радостно всхлипывая, он будто не служил, а исходил, истекал словами службы, повторяя одно и то же, напзусть поминая всех умерших, каких он когда либо отпевал. На людей, не разглядевших в отце Александре человека огромной внутренней силы и чистоты, он производил впечатление смешное.

Сухопарый, седоусый Николай Родионович, сослуживец талиного отца, стоял не крестясь, как на часах, с усилием выпрямив туговатую спину. Таля не могла сосредоточиться на словах панихиды. Ей настойчиво вспоминалась трехрублевка, которой она не досчиталась при сдаче в профсоюз членских взносов за апрель, и пришлось свои доложить, как глупо. .Вдруг всплыла ярко-ярко поездка с отцом, еще совсем здоровым, в Пущу, прошлой осенью, когда Таля умудрилась потерять новый кожаный плетеный пояс И покашливанье отца, и его негромкий умный смех... Тут в тупую боль потери ворвалась резкая спазма. Таля дернулась, смяла теплый огарок свечи в руке, и, помотав головой от боли, стала внимательно изучать лицо псаломщицы — «кривой Нины», изуродованное нервным параличем, перекосившим ей рот и силющившим глаз. Нина, прижимая к себе, как младенца, черешневую палку и вытертую

бархатную шапочку отца Александра, тянула верным жиденьким сопрано:

«По - кой,
Спа - се наш,
С пра - ведными
Ра - ба Твоего... »

Таля, проводив о. Александра, подбирала щеткой белые лепестки пиона, осыпавшегося у изголовья отца. Николай Родионович, надев на парадный пиджак, вытащенные из кармана синие ситцевые нарукавники, аккуратно и сурово, как все, что он делал, вырезывал перочинным ножиком крест на крышке стандартного казенного гроба. Из прихожей донесся тоненький кислый звук звонка. Таля, не спеша, пошла было открывать, но ей навстречу по коридору уже двинулись шаги и голоса.

— Вот сюда. Две комнаты у них. И с балконом услышала Таля. Соседка Томочка, кого-то вела по коридору.

— Таличка, к вам из домоуправления, — объявила она, как будто сообщая очень радостную новость.

Близорукая Таля ожидала увидеть за Томочкиной спиной знакомую плутоватую, но добродушную физиономию управдома Виленского. Нет, из полутьмы коридора вышло существо в юбке, в мягких лосевых туфлях, с дорогим двойным, о четырех замках, портфелем в руке. Таля видела ее в первый раз.

— Это вы — Буслаева? Вас мне как раз и нужно.

Полные бледные губы, холодные серые глаза с тяжелыми веками — все дышало какой-то непобедимой уверенностью в себе. С апломбом переступали короткие увесистые ноги, с апломбом размахивали на ходу холеные руки. Женщина смотрела не на Талю, а в карманный блокнот с какими-то записями.

— Да, я Буслаева. Могу я спросить, кто вы такая? — сказала, опомнившись, Таля.

— Я должна осмотреть площадь. У вас кто-то умер. — не отвечая на вопрос, небрежно, нараспев, заявила незнакомка, а Томочка благоговейно прошелестела:

—«Новая председательница домкома».

Женщина по хозяйски толкнула дверь, (Томочка деликатно осталась в коридоре), вошла в проходную, где на круглом обеденном столе стояла невымытая посуда, и, мимоходом, но зорко оглядевшись, произнесла более в утвердительной, чем в вопросительной форме: — «Это проходная». Затем решительно устремилась во вторую комнату, но, увидев открытый гроб, как-то осеклась и остановилась на пороге. Однако, Таля чутьем поняла, что остановиться женщину заставило не смущение, не естественный пиэтет перед покойником, а чувство животного физического страха, а может быть и брезгливости.

— Я вас не понимаю, — оправившись, с прежним апломбом произнесла женщина. — Вы зарегистрировали смерть утром 17-го, а сегодня 18-е. Так я спрашиваю, зачем держать это в квартире?

Она сказала это таким тоном, как будто речь шла о ведре с помоями или об испортившейся провизии.

— У нас хоронят на третий день, — сухо ответила Таля. И сейчас же пожалела, что так ответила: такой недобрый огонек вспыхнул в глазах у ее собеседницы.

— Он где-нибудь работал? спросила женщина, указав пальцем на гроб.

— В Службе погоды, на Софийской, — выдавила из себя Таля.

— В какой службе? Ничего не понимаю.

— На метереологической станции, если вам это понятнее, — сказал Николай Родионович.

— А

— Лицевой счет на эту комнату на его имя? — палец опять ткнул по направлению гроба.

— Обе комнаты были на имя отца. Но та, проходная —почти что не комната: там пять окон, нет печи, нет дымохода. Зимой там никто не спал, мы только там обедали. Я, конечно, переведу вот эту комнату на свое имя.

— Это мы посмотрим. Получается крупный излишек площади.—В блокноте появилась жирная птичка химическим карандашом; затем посетительница, сказала «пока» и удалилась. От тяжелой неграциозной походки скрипел пол, раскачивался портфель.

*
* *

Трамвай, вплывавший глубже и глубже под своды зелено-серых майских городских сумерок, был веселый, нарядный, праздничный трамвай, потому что он шел от кладбища. В нем трудно было повернуться от колючих белых букетов боярышника и больших бантов на детских головах.

«Меньше всего на кладбищах хоронят», — подумалось Тале. «Гораздо больше устраивают пикники, назначают свидания, едят, пьют и целуются».

«Но как они все быстро говорят, и смеются так громко. Им, очевидно, не трудно ворочать языком, вертеть глазами и шеей... А мне очень трудно. Хорошо, что мне уже не надо разговаривать. Даже хорошо, что Николаю Родионовичу нужно сегодня на сверхурочные, и он даже до дому меня не мог проводить, встал на своей Глубочице... Теперь можно молчать, молчать...»

Таля вспомнила, как она, тихая и подавленная все эти дни, вдруг не выдержала и раскричалась на Томочку, и после того как-то сразу устала еще больше. Деятельная Томочка сварила по собственной инициативе заупокойную рисовую, утыканную изюминками кутью, и во что бы то ни стало хотела, чтобы Таля торжественно несла эту кутью во главе похоронного шествия. Таля сама не узнала своего голоса, когда резко оборвала Томочку, сказав, что ничего возмутительнее этого себе не представляет, — чтобы перед покойником не несли креста (сослуживцы Алексея Ильича боялись итти по городу с религиозной процессией), а тащили бы горшок с кашей!»

«. А теперь молчать, молчать Прийти, лечь, не зажигая...Нет, зажечь лампу, только не верхнюю, а совушку на письменном столе, и лечь на диванчик. Балкон открыт, и город шуршит внизу. А у нас на башеньке тихо... У нас с папой. У нас дома. Дома папа будет близко около меня, я знаю. Ведь не там же папа, не в яме, где корни, обрубленные заступом и земля комками.. »

К своей высокой башеньке Таля с отцом привязались давно и крепко. Любили ее стены, холодные, наружные, но зато не пропускавшие ничьих назойливых голосов, и

сплошь зашитые в мудрое живое тепло открытых полок с книгами. Любили маленький балкон, о каменные перила которого терлась верхушка тополя; балкон, где стояли удочки отца.

* *
*

В окне и балконной двери был свет. Таля была слишком измучена, чтобы придумывать и угадывать, кто мог к ней прийти. С ее службы кто нибудь Она запыхалась, быстро одолев четыре этажа. Уже в коридоре ее поразил незнакомый запах. Густо пахло жареным луком и борщом на старом сале. Но пахло не из общей кухни, а как будто из их комнат. Кроме того резко пахло мастикой и чем-то вроде смазных сапог. Навстречу Тале по коридору шла очень красная, возбужденная как на бое быков, Томочка.

— Талечка, вы знаете что? Вы только не волнуйтесь. Ничего нельзя было сделать, у них даже два ордера. Один от жилуправления, а другой горпарткома. Вилейский вас хотел отстоять, но как второй ордер увидал, так тут уж никаких.

— Как же это так? Без меня?

Ну въехали, ну что ты им скажешь? — горячо сказала Томочка.

— Я вам скажу, у вас крупный ляпсус (Томочка любила это слово), — что вы двери никогда не запираете. Если бы у вас висел замок, они бы на такое дело не пошли без вас, они бы за это отвечали. А тут пожалуйте, не заперто. Я что могла, сделала, четыре ваших полки помогла перетащит, а три еще там остались, они говорят — завтра. Но они говорят, чтоб вы скорее в проходной вещи расставили так, чтоб проход был свободный, а то им проходить трудно, а они еще завтра зеркальный шкаф привезут.

— Проходная? Причем проходная?... Ах да, это я в проходной буду жить... А как же без печки жить зимой?

— А вы хлопочите, Таля! Надо ловчиться, за вас ни у кого голова не будет болеть. Вы можете даже в суд подать. А в крайнем случае можно буржуйку поставить и вывести в окно. Знаете, как она греет ? Мирово.

А что тесно, так что вам — танцкласс открывать? Книги попродавать можно, большое дело! Сразу больше места будет.

Таля вошла в проходную. Томочка за ней по пятам. Там был полумрак, горела слепая синяя лампочка, но свет слабо проникал через стеклянный верх двери бывшей буслаевской комнаты. Двигаться здесь можно было только перелезая через горы сваленных вещей, или ползком по столам и кровати. Кресло и два стула были поставлены на обеденный стол. Из их прежней комнаты доносился ровный гул примуса и хнычущий голос: «Виктор, заведи-и! Виктор, заведи-и!»

Что-то звякнуло, зашипело, и гнусавый патефонный голос невнятно затянул:

— А-хо-о-о, а-хо-о-о, о-хо-хо.

А затем грянул, как сорвавшись с цепи:

«На деревне заиграли провода!
Мы такого не видали никогда!»

И псевдо-русский хор игриво подхватил припев.

— А лампочку они не отдали?— вспомнила Таля. — Здесь вчера перегорела, я не успела купить, было не до того...

— Нет, они свою вкрутили, но только вашу нечаянно разбили, когда вывинчивали,— объяснила разгоряченная событиями Томочка.

Дверь распахнулась, и в нее вошла слепящая желтая полоса света. На пороге остановилась женщина лет сорока, с полотенцем в руке. Из-за нее выглядывали два мальчика, один лет одинадцати, другой маленький, лет пяти. Томочку позвал муж, и она, не без сожаления, ушла.

— Здравствуйте, — спокойно сказала женщина.— Вы, конечно, извините, мы понемножку устраиваемся. А у вас папа умер? Он был больной?

— Как же это вы так.. На живого человека въехали? — только и нашлась сказать Таля.

— А мы хоть и на мертвого въедем, мадам, — добродушно сказала женщина.

Ярко освещенная комната за ее плечами была почти пуста. Кроме трех буслаевских книжных полок, там стояла только очень большая, новая, сверкающая шарами и перекладинами английская кровать, две сложен-

ные раскидачки, прислоненные к стене, да безобразный канцелярский, бурый, с тремя ящиками стол, на котором гудел примус. Носильные вещи были, очевидно, пристроены на стене, и завешены чистой простыней. Паркет был покрыт густым слоем красной мастики.

Постояв с руками в бока, женщина молча вышла, прикрыв за собой дверь.

— Ты куда дела лисипед? Ты куда дела мой лисипед? — плаксиво кричал детский голос.

— На балкон занесла, не командуй, - отвечала женщина.

Таля присела на незаваленный вещами кончик кровати. Ее глаза привыкли к полутьме, и она даже разглядела на столе тарелку со знаменитой кутьей. В кутье торчала ложечка. Таля целый день ничего не ела и теперь попыталась приняться за кутью, но ее замутило от приторного вкуса и показалось, что от кутьи исходит сладковатый еле заметный запах тления, напоминающий запах жасмина. Она положила ложку.

Вот сейчас она чего-то не могла понять. Что-то спуталось у нее в голове. Она не могла поверить, что там, за дверью, не их спокойная милая комната, с умным беспорядком письменного стола, с потертым текинским ковром, с запахом отцовского табака и легким запахом пыли от старой мебели, комната, в которой осталось почти ощутимое присутствие отца, и в которой она мечтала свято уберечь это присутствие.

— Если такая хорошая погода будет, дождей не будет, так может долго не сопреть в земле, — отчетливо донесся голос женщины.

— А если дождь пойдет? Мама! А если дождь пойдет? — приставал голос старшего мальчика.

Тогда обязательно сопреет.

— Это они о папе! Господи! — с ужасом догадалась Таля.

Дверь отворилась. Вошли оба мальчика. Старший нес тарелочку, на которой лежали три больших вареника.

— Мама сказала, что вы должны вашего папу помянуть.

А младший прибавил:

— Приятного аппетита.

Ив. Елагин

* * * * * * * * *

Родина! Мы виделись так мало,
И расстались. Ветер был широк,
И дорогу песня обнимала
Верная союзница дорог.

Разве можно в землю не влюбиться,
В уходящую из под колес?
Даже ивы, как самоубйцы,
С насыпей бросались под откос!

Долго так не выпускали ивы, —
Подставляя под колеса плоть.
Мы вернемся, если будем живы,
Если к дому приведет Господь.

***

От полустанка до полустанка,
То водокачка, то вагонетка,
Полка, бутылка, консервная банка,
Поле, да поле, да изредка ветка!

От разлуки до разлуки,
От судьбы и до судьбы,
Взяли душу на поруки
Телеграфные столбы!

Телеграфные столбы —
Соглядатаи судьбы!

Ветер бреющим полетом
Бьет по спинам поездов,
И поет, поет по нотам,
Бесконечных проводов!

Пой на тысячу ладов,
Ветер нищих! Ветер вдов!

А. Неймирок

ПАМЯТЬ

Одну, одну и ту же прибаутку
Журчит сверчок, прислушиваясь чутко,
Как по соседству вторит Ундервуд
Вечернее безмолвье наполняя,
По пригоршням горошины роняя,
И ты, убогая, ты тут как тут.

Как сумрак, как судьба, как неудача
Ты льнешь ко мне киляя по собачьи,
Глядишь в меня ... вдруг взвизгнешь загодя,
И съежившись, и поскрипев немного,
Но не моргнув и глаз не отведя,
Непобедимою приляжешь у порога.

НОЧНОЕ

О тебе, кудрявой
О тебе, далекой
Ходит месяц ржавый,
Да блестит осока.

Ночь свой лоб высокий
Наклонила нежно.
О тебе, далекой,
О тебе, прилежной.

О тебе, веселой...
Лиловеет ирис.
Золотые пчелы
В небе зароплись.

Дышет ветер Божий,
Холодеют щеки.
О тебе, пригожей,
О тебе, далекой...

Г. Андреев

ПОКОЙ

Открыв глаза, Николай Иванович испуганно вскочил с дивана, не понимая, как он мог уснуть. Но тотчас же вспомнил, что он теперь свободен и снова вытянулся во весь рост на податливо опустившихся пружинах...

В последнее время (впрочем, это «последнее время» тянулось годами) Николай Иванович был перегружен работой. Десятки неотложных местных дел, всегда нервные срочные запросы и телеграммы из Москвы, доклады, отчеты, приемы, разъезды по области заполняли его рабочий день целиком, не оставляя свободного времени даже на обед. Он уже не помнил, когда он обедал, как следует, по человечески: есть всегда приходилось урывками, на бегу, часто вместо обеда, довольствуясь стаканом холодного чая и куском хлеба. А вечера, до полуночи, занимали бесчисленные собрания, пленумы, заседания, и в общем выходило, что 24-х часов в сутки решительно не хватало. Часто не было времени даже для сна, и чуть не каждую ночь у его постели звонил телефон, прерывая и без того короткий сон. В конце концов, Николай Иванович пришел в такое состояние, что чувствовал себя лишь автоматом, работающим без всяких мыслей и желаний.

Но сегодня всему этому наступил конец: утром из Москвы была получена телеграмма о том, что его, Николая Ивановича, снимают с работы. Ни одна мысль о возможных последствиях этого распоряжения не возникла в мозгу Николая Ивановича: он только почувствовал, будто огромный груз сняли с его плеч и ему вдруг стало легко. Он радостно сказал себе: «Довольно, конец»

и, наскоро познакомив своего преемника с неотложным, пошел домой и завалился спать.

А сейчас, проснувшись, он чувствовал себя бодрым, свежим, точно он помолодел. Спать больше не хотелось, но не хотелось и вставать, и он продолжал лежать, лениво и еще сонно вглядываясь в темноту.

В комнате было очень темно. Чуть яснели большие прямоугольники окон, завешанные гардинами, да из-под двери в соседнюю комнату сочился разбавленный свет. На фоне окон совсем черными пятнами вырисовывались листья фикусов.

В полной тишине, размеренно и четко, не спеша, тикали за стеной часы. И Николаю Ивановичу показалось, что он слышит, как спокойно и ровно, так же, как часы за стеной, стучит его сердце и кровь мерными, плавными толчками разливается по телу, наполняя его непривычной тишиной и спокойствием. Он не подумал, а почувствовал, как хорошо и покойно все вокруг: окна и фикусы, тишина и стук часов за стеной, диван под ним и биение его собственного сердца. Так хорошо и покойно, как и должно быть... А что есть еще в его комнате? Он улыбнулся, силясь припомнить: так мало замечал он все раньше, что даже не помнит, что есть в его комнате! Но нет, помнится, вот тут, посредине, — Николай Иванович широко открыл глаза, всматриваясь в темноту, — да, вот он, стол, накрытый цветной скатертью. А вот здесь, по бокам дивана, такие странные, старомодные, но уютные плюшевые кресла... Да и вообще, весь дом старомоден, точно из девятнадцатого столетия, дедовское поместье. А там, в простенке, должна быть картина. Он вспомнил, как однажды он пытался разобрать, что изображено на ней, но так и не разобрал — до того она темна. Сплошное черное пятно, усиженное мухами...

Теплая волна покоя и нежности ко всем этим чужим и мертвым, но таким уютным и приятным для глаза, в первый раз замеченным вещам охватила Николая Ивановича. Так хорошо, тихо и мирно в комнате... Так хорошо, как только хотелось бы ему, и ему совсем не хочется, что бы было как-то иначе, по другому... Он снова беспричинно и весело улыбнулся.

— А ты и не замечал никогда, как хорошо здесь, — будто сказал ему кто-то в нем.

— Зато вижу сейчас, — ответил он.

— А не поздно? — снова спросил кто-то.

— Ерунда! Еще успеется, наверстаем, — беззаботно возразил он.

— Но за это удовольствие, может быть, придется дорого заплатить, — напомнил ему кто-то об утренней телеграмме.

— Глупости! — рассердился вдруг Николай Иванович. Он быстро встал, ощупью нашел на стене около двери плащ, фуражку, оделся и вышел из дома.

На улице было тоже темно, но чуть светлее, чем в комнате. Не было видно ни звезд, ни месяца: город плотно закутался в темное, непроглядное одеяло осенней ночи. Только далеко впереди по улице светилась точка единственного фонаря, в слабом свете которого едва можно было различить ряды деревянных, тянувшихся по обеим сторонам, домов. Тускло поблескивал скользкий, деревянный тротуар: должно быть, недавно прошел дождь и в воздухе пахло сыростью.

Николай Иванович шел, глубоко вдыхая свежий воздух, отчетливо, со стуком ставя ноги на доски тротуара. Отдохнувший, он чувствовал удовольствие от того, что идет, не зная, куда, без всякой надобности и причины. Это и было приятно: итти просто так, без цели, никуда не спеша, ни о чем не заботясь. Итти, переставлять ноги, вглядываться в доски тротуара, с боку которого непременно есть густая, непролазная грязь.

— А я вот не попаду в грязь, — задорно, будто дразня кого-то, подумал Николай Иванович и довольно, по-мальчишески, засмеялся. Он и в самом деле чувствовал себя очень молодым, крепким и радостно шагал, легко неся свое начавшее тучнеть тело.

Наверно было еще не поздно, потому что из-за ставень многих домов проскальзывали полоски света. Но пройдя несколько улиц, Николай Иванович не встретил ни души. Это тоже было приятно: итти одному по пустым улицам, зная, что вокруг, в домах, живут, ходят, говорят люди, а ты можешь итти один, не спеша, и можешь не знать никого и не общаться сейчас со всеми этими людьми...

Дойдя до площади, Николай Иванович вспомнил, что давно, когда он только еще приехал сюда, он видел место над рекой, у монастыря, будто специально пред-

назначенное для гуляний. Ему ни разу не пришлось побывать там. Но сейчас он вспомнил о нем и направился туда.

Осторожно пройдя мимо стен полуразрушенного, пустого монастыря, Николай Иванович нашел под деревьями скамейку, сел, подвернув под себя плащ, закурил папиросу.

Черным сводом нависла над ним листва деревьев, почти касаясь головы. Позади (он чувствовал ее) тянулась кирпичная стена монастыря. И Николай Иванович почему-то ощутил себя здесь, как в надежном укрытии, где никто не сможет помешать ему сидеть, курить, бездумно вглядываясь в темноту ночи...

Впереди, в нескольких шагах перед ним, земля обрывалась и уходила куда-то в черную пустоту. А в ней, далеко внизу, в километре, если не больше, чуть видны были тускло поблескивавшие точки фонарей, слабо освещавших пристань. Там текла река, но ее не было видно: может быть от воды поднимался туман и поэтому фонари не могли осветить ее и только чуть освещали пристань.

Смотря на точки фонарей, Николай Иванович подумал, что он ездил по этой реке много раз, но, в сущности, так и не видел ее. Опять-таки не было времени: когда приходилось ехать, он всегда сидел в каюте парохода и то готовился к докладам, то просматривал отчеты, сводки, и никогда у него не было времени, что бы просто так, любопытствуя, посмотреть на реку. Да никогда и мысли не приходило об этом... А стоило посмотреть. Ведь, по этой реке плавали еще новгородские ушкуйники. По ней ходил Ермак завоевывать Сибирь. Здесь торговали Строгановы, ставили соляные варницы, церкви и монастыри, закладывали новые русские города...

Откуда-то возникла озорная мысль: — хорошо бы сейчас, не заходя домой, спуститься к пристани, сесть на пароход и уехать. Все равно, куда. Просто — забраться в каюту и пусть плывет пароход, куда знает...

Николай Иванович тихонько засмеялся: «А что, в самом деле?» — как бы дурачась сам с собой, задорно подумал он — «Так вот, сесть и уехать... Фью — засвистал он — поминай, как звали! Был, да весь вышел. Могу же я хоть раз для себя, не для других, поехать? Уеду,

и пусть ищут, если им надо...»

Он вспомнил, с каким чувством зависти и сожаления, давно, в детстве, он смотрел на дальние поезда и пароходы, уходившие из их города куда-то в неизвестные ему места. Они всегда манили его: казалось, что они идут куда-то в чудесные, полные таинственных приключений, страны. Куда-то, где жизнь в тысячу раз интереснее, чем в скучном, пыльном городишке, где прошло его детство... И сейчас почти то же чувство возникло в нем: да, уехать, все равно, куда. Куда-нибудь, где нет всей этой бестолочи, неразберихи и кутерьмы, среди которых он крутится уже столько лет..

—Что ж, поезжай, — опять сказал кто-то в нем. — Уедешь, так уж непремечно посадят. Найдут и посадят. Скажут — сбежал, дезертир.

Николай Иванович зябко съежился.

— Куда же уедешь? — подумал он. Он, ведь, знал, что нет тех мест, куда уходили так манившие его поезда детства. Разве не всюду одинаково? И не все ли равно, где ты будешь жить и работать — на Урале или на Севере, в Крыму или в Сибири? И он вздрогнул, пронизанный мыслью о том, что никуда не уедешь и не скроешься, что где бы он ни был — во Владивостоке или Минске, Баку или Архангельске, на ответственной работе или в концлагере, — ему все равно, придется тянуть ту же лямку, ненужную ни ему, ни людям, но нужную кому-то там, в Москве, кому он, неизвестно почему, обязан беспрекословно повиноваться. С мыслью о том, что он — нуль, абсолютно лишенный своей воли, и что никакая сила в мире не избавит его от этой унизительной и неизбежной участи... он швырнул погасшую папиросу и встал, рывком запахнув плащ, будто стараясь защититься от неприятной, ненужной, мешающей ему сейчас мысли.

— Завтра, — сквозь зубы пробормотал он, — завтра посмотрим...

Домой Николай Иванович возвращался так же бодром, весело, будто с вызовом стуча сапогами по доскам тротуара. Ему удалось отбросить так не шедшие к его настроению мысли, и снова сознание уверенности и силы владело им.

Подходя к дому, он заметил в окнах своей комнаты свет. А войдя к себе, он увидел, что за столом, у швей-

ной машинки, сидит с шитьем дочь хозяев. Она поднялась со стула:

— Извините, что я работаю здесь. Я сейчас уберу, — и она стала складывать шитье. Но Николай Иванович остановил ее: нет, нет, она ему не мешает; он еще не будет спать. — Пожалуйста, продолжайте, если вам здесь удобнее, — говорил он,

— Там дети спят — объяснила она, — но я скоро закончу, еще немного осталось, — она принялась снова шить, но через минуту подняла голову: — Не хотите ли закусить? Папа вчера пару зайцев подстрелил, — хотите?

— С удовольствием. — Николай Иванович только сейчас вспомнил, что с утра ничего не ел, и почувствовал голод.

Она принесла жареного мяса с картофелем, хлеб и чай. Сев к столу, Николай Иванович с аппетитом принялся за ужин, не переставая наблюдать за женщиной.

У нее было широкоскулое, некрасивое лицо, с большим ртом и приплюснутым носом. Но когда она говорила — она как будто улыбалась и от этой улыбки ее некрасивое лицо мгновенно преображалось и становилось мягким и удивительно женственным. И глаза — несомненно, у нее красивые глаза. Глубокие и такие спокойные, ясные. Добрые глаза, — подумал Николай Иванович и добавил: — лучистые, материнские...

И опять какое-то новое или давно забытое чувство тепло и тревожно шевельнулось в груди Николая Ивановича. Он смотрел на ее мягко очерченную фигуру, склоненную над машинкой, на руку, округлым и плавным движением оправлявшую прядь волос, часто спускавшуюся ей на глаза и мешавшую видеть, и чувствовал, будто странно теплеет у него на сердце.

—А ты и ее никогда не замечал, — снова упрекнул его кто-то в нем, но он даже не возразил.

Он припомнил, что иногда встречал эту женщину в коридоре, в передней. Она, кажется, вдова, у нее есть дети.. Сколько ей может быть лет? Двадцать пять, тридцать?

— Что вы шьете? — прихлебывая чай, спросил он, что бы только что нибудь сказать.

— А вот, детям, — улыбаясь, показала она детскую рубашку.

Взволнованный новым, непривычным ощущением, Николай Иванович медленно допил чай, закурил папиросу, встал и, стараясь ступать тихо, неслышно прошелся по комнате. Зашел за стол и остановился позади женщины, заглядывая на ее быстрые и ловкие руки. Потом, неожиданно для себя, он осторожно, ладонью, отвел от ее лба мешавшую ей прядь волос.

Перестав шить, женщина повернула голову, немного запрокинув ее. В ее ясных, лучистых глазах, показалось Николаю Ивановичу, он увидел не только удивление, но и смущение и как будто нежность. Тихонько обняв мягкие, теплые плечи, он наклонился и крепко прижал свои губы к ее вздрогнувшему, полуоткрытому рту

Когда она уснула, Николай Иванович еще долго смотрел на ставшее таким близким и будто родным, доверчиво прижавшееся к его груди, лицо. Оно было спокойно и светилось безмятежностью и тихим довольством. Ему казалось, что она и сквозь закрытые веки продолжает смотреть ласковыми, с любовью устремленными на него глазами. Он благодарно улыбнулся ей, спящей, осторожно, боясь разбудить, нагнулся и коснулся губами горячего, с бившейся жилкой, виска. Потом откинул голову на подушку, еще раз обвел взглядом комнату и сознание его снова отметило, что все хорошо, покойно и тихо у него на душе, — так, как и должно быть. И с этой мыслью уснул...

Николай Вартанов.

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ.

Война без пожаров все равно, что ветчина без горчицы — вещь пресная.

Анри-де-Ренье.

Петр Лагутин был низкорослый, бородатый крестьянин, уже за сорок, старательный и серьезный, мобилизованный на войну в последнюю очередь и, благодаря своему физическому недостатку — одна нога у него была короче другой, — зачисленный в обоз. Плетясь второй подводой в колонне обоза, он все посматривал на серого коня своей упряжки, который сегодня с утра стал прихрамывать на заднюю ногу. Хромота прогрессировала и к вечеру подводу везла одна рыжая кобыла, а серый конек, опустив уши, ковылял, не натягивая постромок. Лошади прошли уже не одну тысячу километров и были для Лагутина не только тяговой силой, но и походными товарищами. Угрюмый солдат находил ласковые слова лишь для них, для них он собственноручно смастерил из немецких одеял попоны, для них крал, с риском попасть под суд, овес и сено. Кони также привязались к Лагутину, особенно Серый. Он всегда тихонько ржал при его приближении и понимал хозяина с пол слова.

И вот четырехногий приятель охромел. Чтобы облегчить воз Лагутин почти весь день шел пешком и совершенно выбился из сил. К вечеру подводы обоза начали медленно втягиваться в предместье города П., из которого днем был выбит неприятель. Улицы были пустынны, всюду виднелись следы недавнего боя: на перекрестках валялись трупы людей и лошадей, опрокинутые машины. Много домов было разрушено, другие сгорели или еще догорали и, на подобие гигантских факелов, освещали дорогу. В воздухе висли клубы дыма, где-то вблизи, слышались глухие взрывы от которых вздрагивала земля.

Началась булыжная выбитая мостовая, лошадям стало совсем трудно. В довершение бед, часто стали попадаться непроезжие улицы, заваленные кирпичами и

разным хламом от рухнувших зданий. Приходилось делать объезды, что задерживало и без того медленное продвижение.

Наконец обоз выбрался в сравнительно благополучный район. Здесь было еще много сохранившихся домов. Эти дома раньше были заняты немцами, а теперь стояли пустыми, с настеж открытыми дверями. На центральной улице колонну нагнал вестовой и передал старшине, ехавшему на первой подводе, приказ немедленно повернуть и направить обоз в Зинкины—Броды, селение расположенное примерно в 8-ми километрах от города.

Старшина рослый, худощавый мужчина, бывший до войны дамским парикмахером, давно привыкший к превратностям обозной жизни, соскочил с подводы и для проформы, без всякой злобы, тяжело выругался.

—Вот и отдохнули братишки, — иронически сказал он, окружившим его солдатам. — Хороша ты служба ратная: днем иди вперед, ночью поворачивай обратно. Чего стали! Даешь Зинкины — Броды!

К старшине ковыляющей походкой подошел Лагутин.

—Хиба ж вин, товарищ старшина, может так дальше иттить, — мрачно проговорил он, — на трех ногах!

— Кто куда иттить? — уставился на него старшина.

— Да, конь, конечно — Серый.

— А, это у тебя конь охромел, — вспомнил старшина. — Чтож я с тобой буду делать, Фин-шампунь ты этакий! Оставайся здесь ночевать, что-ли! Утром приеду за тобой и приведу подмогу. Сейчас только подыщу тебе хату потеплей.

Подходящая хата нашлась: трехэтажный, кирпичный особняк, в котором у немцев помещался отдел пропаганды. Старшина обошел с электрическим фонарем все комнаты нижнего этажа. Повсюду разгром неописуемый: поломанная мебель свалена кучами, на столах потоки чернил, со стен свисают порванные плакаты, все полы как ковром покрыты бумагой.

— Видно спешили удирать, — проговорил старшина окончив свой осмотр. — Грязище! Ну ничего, браток, не огорчайся: тебе здесь не жить.

Лагутин заехал во двор и солдаты помогли ему перетащить груз с подводы в угловое помещение, служившее когда-то магазином. Здесь чудом еще сохрани-

лось зеркальное стекло — витрина, выходящая на улицу. На дверях старшина повесил большой замок и обратился с наставительным словом к Лагутину.

— Бери старшна винтовку и становись часовым. Ворота можно закрыть. Ходить нужно по улице. Смотри в оба! Народишка сейчас в темноте бродит разный. Ты отвечаешь за военное имущество. Утром за тобой приеду.

Когда колонна обоза уехала, Лагутин долго возился во дворе с лошадьми, задал им корму, накрыл попонами. Серому поставил компресс и забинтовал больную ногу. Потом отломил себе краюху хлеба, перекинул через плечо винтовку и вышел на улицу.

Было около полуночи. Тихо. Взрывы прекратились. Кругом, в предместьях, полыхали пожары. В центре было довольно светло: дымным, молочно — розовым светом. При этом свете все казалось призрачным, нереальным. И пустые, зияющие выломанными окнами дома и безлюдные улицы, и наступившая внезапно тишина.

Лагутин, бесконечно уставший, ковылял вдоль дома, проходил витрину, заворачивал за угол — к воротам и снова шел обратно. На душе у него было тяжело, в голове вяло бродили сонные мысли, корявые недоделки, серые и не интересные, как сама его жизнь. Временами он останавливался, как зверь втягивал в себя воздух, напряженно вглядывался в уходящий вдаль сумрак улицы и прислушивался. Потом медленно шел дальше.

Так прошел час, а может и более. Напротив, через улицу стал дымиться двухэтажный дом. Густые, белые клубы дыма одновременно показались из окон подвального и первого этажей. Ни шума, ни даже подозрительного шороха перед этим не было слышно. Лагутину стало совсем жутко. Он несколько раз прошелся по улице, потом направился во двор проведать лошадей. Посреди небольшого, зажатого зданиями, дворика стояла подвода, к которой были привязаны кони. Они жевали сено и пофыркивали. Лагутин поправил на них попоны, похлопал по спинам, потом прижал к себе голову Серого и поцеловал в лоб между глаз. В присутствии живых и милых сердцу существ, Лагутину стало легче. Он приободрился, скрутил себе цыгарку и за-

курил. Потом обошел вокруг телеги и снова погладил лошадей.

Однако нужно было итти на улицу сторожить. Перекрестившись несколько раз, Лагутин неслышно подошел и осторожно приоткрыл одну половину ворот и вдруг замер на месте. Подсознательным чувством он безошибочно осознал, что кто-то есть вблизи, что кто-то от него прячется. Прошла томительная минута. Лагутин не шевелился, стараясь определить откуда и от кого грозила ему опасность.

Двухэтажный дом напротив теперь уже не только дымился но и горел. Длинные, красные языки огня вырывались из окон и лизали стены; на улице стало значительней светлей. Лагутин наконец решился высунуться подальше и посмотреть вокруг. Он повернул голову сначала налево — и ничего подозрительного не обнаружил, потом направо и... в трех шагах от него, освещенные пожаром, стояли, прижавшись к стене дома, немец и девушка. Совсем юные, они по детски держались за руки и полными ужаса глазами смотрели на красноармейца. Немец был в полной военной форме, без фуражки, с перевязанной головой. В свободной руке он держал автоматический револьвер. Лагутин быстро втянул голову за ворота, но, в следующее мгновение, выскочил наружу, держа винтовку на перевес. Он повидимому хотел что-то крикнуть, но голос отказал ему, получилось только шипение вроде змеиного. Девушка тихо вскрикнула и подняла руки вверх, немец уронил пистолет и тоже поднял руки. Так стояли они довольно долго друг против друга. Лагутин казалось не знал ни что ему сказать, ни что ему сделать, он только временами тыкал винтовкой вперед, от чего у пары судорожно взлетали руки выше. Молчание нарушила девушка, обессилевшая от нервного напряжения. Она опустила свои руки и обреченно, тихо проговорила:

—Стреляйте, дяденька, ради Бога скорей. Не мучайте!

Человеческие слова успокаивающе подействовали на Лагутина, шок прошел, мускулы отпустили, но реакция у него протекала медленно. Девушка обернулась к своему спутнику, который все еще стоял на вытяжку с поднятыми руками: Lass die Hände nieder Franz, — сказала она. — Der macht uns nichts böses.

—Ну, ну балуй, — неопределенно пробурчал Лагутин,

услыша чужую речь, однако тоже убрал винтовку, перекинув ее через плечо.

Девушка подошла к Лагутину.

— Дяденька мы погибли, — в отчаянии прошептала она и долго сдерживаемые слезы хлынули у ней из глаз. — Франца ранило, он был в безчувствии, мы остались... Боже мой, Боже мой, что нам делать... Дяденька, родненький, спасите. — Немец также подошел ближе. Он был бледен, на голове сквозь платок просачивалась кровь и делала его молодое лицо страшным.

—Русски карош, пожалюйста делайть, бессмысленно лепетал он. Папирос! вытащил он портсигар и дрожащей рукой протянул красноармейцу. Лагутин не был от природы ни глуп, ни жесток. Девушка пробудила в нем что-то вроде жалости. Но немец был враг, зверь другой породы, которого нужно было гнать, убивать где только возможно. Папирос он не взял.

—Ты русская?

—Русская, дяденька.

— Так бросай его скорей, твово Франца — посоветовал он, недружелюбно смотря на немца. — Забьют тебя свои.

—Это невозможно, — твердо сказала девушка. — Лучше смерть, Франц мой жених, он... он... — снова заплакала она.

—Дура,—сердито сказал Лагутин — забьют!

Немец по своему истолковал гневные слова Лагутина. Он снова вынул и протянул ему портсигар.

— Берите уж, дяденька — поддержала девушка. — Нам ничего теперь не нужно.

Лагутин нерешительно протянул руку.

—Дура. Жениха нашла, — презрительно, но уже более мягко проговорил он и после некоторого раздумья добавил: — Здесь ваши должно недалеко. Может ночью проберетесь. — Лагутин объяснил где должны, как он слыхал, находиться немцы и как туда пройти. — А теперь уходите. Нечего здесь... — заволновался он снова.

Молодые люди молча взялись за руки и медленно, прижимаясь к домам, побрели. Скорей бледные тени, чем живые, во плоти, люди.

Лагутин долго смотрел им в след, потом вздохнул и начал снова свой обход. Проходя в сотый раз мимо витрины, он остановился, чтобы закурить подаренную

немцем папиросу, повернулся лицом к дому, зажег спичку в кулаке, наклонился, но... спичка загорелась и потухла, а папироса осталась неприкуренной. От крайнего удивления и смущения Лагутин остолбенел с открытым ртом. В витрине при свете пожара он увидел выставленную там картину. Масло, яркие краски. На картине был изображен почти в человеческий рост сам вождь народов, «учитель, солнце наших очей, отец всех, академик» и прочая, прочая, прочая; но как изображен?! Ввиде скачущего ишака. Хвост по ветру, красный толстый язык вывален, копытцами стрижет в воздухе. Спереди у вождя тоже все в порядке, как должно: аккуратный мундирчик в орденах, фуражка с кокардой, золотые эполеты. На лице видно утомление, в глазах — гнев. Ландшафт горный. Солнечный.

Лагутина бросало перед картиной то в жар, то в холод. Он испуганно оглянулся — не видел ли кто, что он смотрел на картину. Такое невероятное, чудовищное кощунство! Но слава Богу, кругом никого. Сорвать, немедленно уничтожить, — было следующей его мыслью. Но как? Толстое, богемское, вероятно еще царских времен, ни вынуть ни разбить нельзя. Граната не берет! Да и бить то нельзя — за ним сложено казенное имущество. Ты ответчаешь — сказал старшина. Лагутин завертелся как цыпленок с поврежденным мозгом. Бросился во двор, через черный вход — к дверям. Солидный замок, повешенный старшиной на вмурованные в стену кольца, не давал никакой надежды без взлома попасть в магазин. Другого входа также не оказалось. Лагутин сорвал со стенки несколько плакатов и выбежал с ними на улицу. Вдали что-то гремело, похоже было, что двигаются танки или артиллерия. Лагутин стал спешно оплевывать плакаты и, белой стороной наружу, залеплять ими витрину. Проклятые плакаты не хотели держаться на стекле, не прилипали, слюны же у солдата не хватало. Кое как все же прилипли! Весь в поту, Лагутин наконец отошел. Выглядело приличней: страшный скакун исчез.

Из боковой улицы выкатил небольшой танк и остановился на углу. Очевидно танкисты осматривали местность. По параллельным улицам было слышно — также катили танки. Лагутин махнул рукой и танк пришел снова в движение. Когда он подкатил вплотную, открылись лю-

ки и из черного чрева вылезли на улицу четыре танкиста. Все молодые, перепачканные сажей и маслом, в черных робах и кожанных шлемах.

— Здорово отец, обратился с приветствием к Лагутину танкист с глубоким шрамом через все лицо. — Что сторожишь? Много здесь ваших?

— Нет я один. Обоз ушел, а у меня конь охромел.

— Так. Значит сам себя охраняешь. Греешься, - подмигнул танкист на горящий дом напротив. — Костер хоть куда!

Танкисты вытащили бутылку водки, мясо, хлеб и стали, стоя возле машины, закусывать, сильно налегая на бутылку. Лагутину тоже досталось несколько добротных глотков. Ребята повидимому хорошо спелись, плевали на все и всех и не боялись даже самого главного черта. Вечная опасность, ежеминутно висящая над ними смерть их сроднила. Четверо в бронированном кулаке!

— Папаша не унывай! Скоро войне конец хлопнул один из них по плечу Лагутина. — Полезешь тогда на печь к куме вареники есть.

Другой отошел к дому, наклонился и поднял на панели брошенный немцем револьвер.

— Товарищи, а я пистолет нашел — сказал он и выстрелил в воздух. Звук от выстрела получился какой-то неполноценный, сухой, как-будто из бутылки вынесло пробку. Танкист шагнул к витрине и полюбопытствовал прикоснуться к наклеенной бумаге. Плакаты дружно, как по команде, стали один за другим отклеиваться и сыпаться на землю. Удивленному взору танкиста предстал горный скакун во всем своем великолепии. Остальные танкисты тоже подошли и уставились на картину как очарованные.

— Ну и конек! — восторженно проговорил один. Другой зацмокал, как-бы понукая скакуна к большей резвости:

— Ха — ца — ца! Шашлык кюшал, водка пил, высоким гора Казбек скакал! Ха — ца — ца!... Без подков, друг любезный по камням чешет!

— Вернемся с войны — и подкуем и взнуздаем! — загадочно произнес третий. — Отец ты бы все же убрал эту пакость. Утром должны в город генералы и комиссары разные приехать, сам командующий говорят бу-

дет. А ты, как дурак, стоишь возле такой картины и вроде охраняешь! Совсем не хороше!

— Не только не хорошо, но и опасно. — решил танкист со шрамом на лице. — Чего доброго комиссар глупее тебя попадется. Дело пришьет. Очень возможно... Чтожь хлопцы поехали дальше.

Стальная черепаха проглотила четырех веселых танкистов, выпустила черный клуб дыма и зацокотала по мостовой. Но не успела она отъехать и 100 метров, как из темной подворотни одного из домов отделилось две фигуры и бегом, держась за руки, попытались пересечь улицу. В этой паре Лагутин, к своем ужасу, узнал злосчастного немца с его подругой. По необъяснимой причине они никуда не ушли и от страха, — должно быть окончательно лишившись разума, бросились под танк... Хлопнула пробка и немец молча упал на мостовую. Девушка слабо вскрикнула, взмахнула руками и опустилась рядом. Другая пробка прекратила ее страдания. Танк, объезжая трупы, метнулся, не замедляя хода, в сторону, вывернулся, наддал газу и исчез в клубах дыма.

Лагутин снял шлем, набожно перекрестился и перекрестил распростертых вдали на мостовой. Его поразила легкость с которой было совершено убийство этим молодым, веселым и возможно даже — добрым парнем. Просто нужно было человеку попробывать найденную игрушку!

Лагутин заковылял во двор, нашел на подводе керосиновый фонарь и зажег его. Потом еще раз исследовал возможности попасть в магазин с черного хода и убедился, что это невозможно. В большом смятении вышел он на улицу. Пламя уже охватило весь дом напротив. Горели стропила на крыше. Железные листы наверху двигались как живые, скручивались от жары и с шумом летели куда-то. При ярком свете горный скакун казался еще выразительней, еще страшней.

На главной улице вдруг показалась большая белая собака. Она бежала по направлению к магазину, как-то высоко и чудно подымая ноги. Лагутин крикнул. Собака вместо того, чтобы свернуть в сторону, кинулась большими скачками прямо на него, но пролетев мимо, с размаха ударилась головой об стену и осталась лежать неподвижной, смотря на пожар открытыми вы-

текшими глазами.

Это окончательно смутило Лагутина. Он кинулся во двор и стал запрягать лошадей, вывел запряженную подводу на улицу, вернулся во двор и стал собирать бумагу, разную рухлядь и стаскивать ее к дверям магазина. Потом потушил фонарь, вылил весь керосин из него на бумагу и чиркнул спичкой. Взвился огонь! Не оглядываясь, Лагутин выбежал на улицу и тотчас, не обращая внимания на хромоту Серого, безжалостно, стал нахлестывать лошадей.

Поздним утром Лагутин с трудом нашел свой обоз в Зинкиных — Бродах. Старшина выслушав его сбивчивый доклад, зевнул, довольно равнодушно заметил:

— Загорелось говоришь?! Все сгорело?!... Ну чтож, ничего не поделаешь. Как же твой Серый? Ставь подводу в ряд и пойди, Фиксатуарыч, поспи немного. Возможно, что к вечеру мы снова выступим.

Война есть война и никто особенно не горюет, если где ненароком, что загорится.

О. Краснопольский

СУДЬБА

(Отрывок из повести «В пути»)

Они решили бежать вместе. Два года плена истомили их, и теперь, немного окрепнув, восстановив кое-как силы и встав на ноги, в полном смысле этого слова, они уже не могли дальше жить рабами. Тянуло на волю, хотелось влиться в общую борьбу, принять участие в разгорающейся схватке. Полные кошмара лагерные дни остались позади, жили лишь в воспоминаниях. Уже прошло полгода, как их взяли из лагеря военнопленных на работу в маленькую воинскую часть — «компани», как она называлась, и теперь они жили на тихом полустанке, вблизи Берлина, где полное безлюдье и тишина нарушались лишь беспрерывным движением поездов. Сама «компани» стояла в деревне, а здесь на станции жили пленные — двадцать человек рабочей команды, да пять солдат. Добродушные, в прошлом фронтовики, они почти не охраняли своих «русских — камрадов» и лишь в полночь приходили в барак, чтобы проверить все ли на лицо и запереть дверь. А в бараках даже не было решоток на на окнах. Через перегородку, в другой комнате жили молодые парни — фольксдейчи из Польши; к ним ходили по вечерам посидеть и поговорить о последних новостях, играли в очко, торговали...

Днем была работа. Вместе со своими немцами-охраной разгружали вагоны; иногда это были авио бомбы с надписями: «Фюр мистер Черчиль». Немцы не подгоняли и чаще кричали в шутку сами пленные:

— Работай, Фриц! Работай! Тебе фатерланд надо защищать!..

А мимо день и ночь не останавливаясь шли поезда:

черные конические с углем, военные составы с танками, пушками и бодрыми солдатами — на восток; поезда со снегом, на крышах вагонов, с разбитами танками и орудиями, с мрачными темными лицами солдат — с востока. Быстро проносились санитарные поезда, а иногда проходили составы с гордой кричащей надписью на вагонах: «Кубань — Рейн». Мелькали зеркальными окнами поезда «Митропа»; они вмиг появлялись и исчезали вдали, оставляя щемящее на сердце чувство: «Варшава—Париж»...

— Вот с этим бы бежать!.. — думали они.

Их койки были рядом, и лежа после работы, когда вокруг каждый занят своим делом, можно было отводить душу в разговорах. Многое сближало их, а больше всего год неразлучной жизни, общие мытарства, общая тоска. Один был волгарь, с плечами в сажень, студент в прошлом; другой кубанец, с черными кавказскими глазами,— авио-конструктор. Они спали рядом, ели из одной миски; студент собирал для инженера окурки, инженер приносил студенту обрывки, найденных газет, книг. Они разговаривали о чем угодно, но не высказывали самого главного. Первым не выдержал инженер:

— Надо бежать...

Студент ждал этого давно, но ответил не сразу:

— Да, надо...

— Ты согласен?

— Вполне...

— Бежим вместе?

— Определенно. Каков твой план?..

— Мы должны сесть на поезд идущий на Варшаву — это лучший способ попасть на восток.

— Ты думаешь?.. А Берлин?

— Важно сесть на поезд, а Берлин проскочим. Надо искусно замаскироваться... План еще должен быть разработан во всех деталях. Может быть лучше, даже, ехать с военным транспортом...

— Легко сказать... — неопределенно ответил студент, — и почему именно бежать на восток?

— На востоке борьба, Семен, партизаны... Наши!

— Да, но там и бдительность, трибуналы, штрафные роты... Разве ты забыл о них, Игорь?

— Ты берешь крайность. Не забудь, что теперь война и там нужны люди.

— Лучше брать крайности, чем огорчаться потом — возразил Семен.

— Нет, надо бежать на восток — там война, а я солдат, — упрямо заявил Игорь.

— Я тоже, жажду борьбы, но предлагаю другой вариант.

— Какой-же?

— Надо бежать во Францию!

— Но она полностью оккупирована! Ты же сам говорил про это — возразил Игорь.

Тем лучше! Я уверен: во Франции нас примут; нам поможет любая француженка.

Игорь усмехнулся:

— Ты, я вижу, уверен в силе своих усов?

— Не в том дело! Я знаю Францию, я знаю, что французские женщины патриотки, они ненавидят немцев, и если отдаются им телом, то душой никогда. Кроме того я не допускаю, чтобы французы прекратили борьбу А потом — я не хочу бороться с фашистами ради победы других фашистов! Я должен итти на запад. Знаешь, как у Джека Лондона: «Во что бы то ни стало — держите курс на запад». Признаться, это мой старый девиз...

— «Во что бы то ни стало — держите курс на запад»... — повторил Игорь.

— Да. И одно еще преимущество: — я знаю французский язык...—с деланным безразличием проговорил Семен.

— Ты знаешь французский язык? Откуда же? Вот не знал!

— Еще с детства. Нас учила старая институтка...

— Вот как? — Изумился Игорь.

— Она жила у нас еще до революции: какая то дальняя родственница, а потом осталась с нами доживать свой век и делить вместе все: голод, холод, гонения... —добавил Семен.

— Так ты значит, из бывших?

— Это к делу не относится, Игорь. Позднее я учился в Институте иностранных языков.

— В Москве?

— Да...

— Где ты там жил?

— На Маросейке... Наше общежитие было в Петро-

веригском переулке... Я так любил это старое название — в нем чувствовалась вся Москва. —с грустью добавил Семен.

— Не знаю... В Москве мне знакомы лишь Красная площадь, мовзолей, зоопарк и Казанский вокзал. В Москве я был лишь с экскурсией. Я хоть пролетарий, можно сказать, а неудачник. До шестнадцати лет был пастухом, потом комсомол послал на рабфак. Стал учиться— понял, что есть другая жизнь; убежал с рабфака. Стал работать на фабрике и учиться, учиться и работать, а потом поступил в Авиационный институт в Казани. Да на последнем курсе нечем стало платить за учебу; ушел. Тут и в армию забрали ...

Некоторое время лежали молча.

— Покажи руки! — неожиданно воскликнул Семен.

— Ну — удивился Игорь и протянул руки.

— Плохо! Посмотри мои.

— Руки аристократа?..

— Не в этом дело, а в том, что для нашего плана необходимы иметь чистые, без следов мозолей, руки. Надо делать как я: работать в рукавицах и мыть ежедневно щеткой.

— Ты дальновидный... Но каков же твой план?

— Видишь ли, прежде всего надо достать приличные костюмы, если удастся кое-какие документы и адреса во Франции. Затем нужна железнодорожная катострофа и хорошее время для побега. Нужно задержать «Митропу»...

— А потом?

— Потом ехать... Но все будет видно при разработке плана. Во всем следуй моим указаниям. План вступает в силу с сего момента — Семен говорил возбужденно, чувствовалось, что некоторая фантастичность плана взбудоражила в нем бывшего любителя приключений.

Игорь смотрел и слушал Семена с нескрываемым удивлением — как, спокойный и внешне тяжеловатый, Семен не был похож на самого себя.

В бараке уже все спали. За разговором они не заметили, как пришел солдат запирать барак, как пожелал всем покойной ночи, и как ушел; а затем вскоре наступила в бараке тишина, нарушаемая лишь храпом спящих.

Семену не спалось, он лежал глядя в доски верхней

койки, но видел перед собой быстро меняющиеся кадры фильма воспоминаний. Не спалось и Игорю — только что закончившийся разговор взволновал его.

— Ты не спишь, Семен? — не выдержал и заговорил Игорь.

— Не спится... На душе делается не знаю что.

— Семен, ты хорошо знаешь французский язык?

— Так же, как русский. А ты что? Не веришь?

Верю, но, знаешь ли, как-то странно, столько было встреч с французами и ты не разу не говорил с ними... Особенно в лагере, когда с голода дохли,— там бы пригодилось.

— Зачем? Ведь живем и без того, а выпрашивать у них окурки можно и без языка...

— А в институте вы учили и разговорную речь?

— О не сомневайся! — Я имел хорошую практику! Видишь ли, в 39 году в наш институт и в общежитие, видимо для практики, а может быть девать некуда было, поместили несколько француженок и испанок — беженцев после победы Франко. Среди них была маленькая Женевьева. Она приехала в Союз не то с мужем, не то с приятелем; вскоре он куда то исчез, а она попала к нам... Мы стали друзьями... Нет — мы любили друг друга. Она не была ни коммунисткой, ни кем другим, а просто французской девушкой, со своим другом попавшая в водоворот событий, выбросивших ее на наши берега. Она была несчастна в Москве, рвалась во Францию, но уже началась война и Францию смело гитлеровским ураганом... Если бы ты знал, как они восприняли нашу дружбу с Адольфом! — голос Семена дрожал, ноты нежности и тоски слышались в нем.— Но это уже другая тема... Да, моя Женевьева была несчастна и лишь наша любовь была и для меня и для нее просветом. Эта маленькая Женевьева сделала меня совсем иным человеком, попросту говоря, она мне открыла глаза. Говорят, что любовь ослепляет, но меня любовь заставила прозреть. Зрячим я попал на войну Я никогда не забуду дня нашей разлуки, боль ее до сих пор страшной тяжестью в моем сердце. Правда, я ее утешал, говорил, что скоро мы освободим Францию, что она вернётся домой, и я вместе с ней.. Утешал, но сам не верил себе, и в тайне надеялся, что нечто другое может свести нас вновь... Двадцать пятого июня

мы расстались, пятого октября я получил от нее последнее письмо, замазанное цензурой... А потом наступил плен. — Семен замолчал и, почему-то, рассмеялся.

— А вот теперь я еду во Францию и буду искать ее отца! Старый Андрэ живет в департаменте Сены...

* * * * * * * * *

Шли дни с тем же однообразием. Так же по утрам ходили на работу, возвращались в барак вечером, играли в карты, обсуждали новости; вспоминали былое. Стояли морозные дни декабря, выпал снег и поля и лес под шапками снега напоминали далекое. Среди немцев ползали не ясные, тревожные слухи, слово «Сталинград» не сходило с уст. Обрывки найденных газет рассказывали Семену о «героической борьбе» на востоке.

Раз туманным вечером, когда ветви деревьев и провода гнулись под тяжестью инея, разгружали бомбы. Невдалеке пленные французы грузили шпалы.

— Хотите удивлю, ребята? — загадочно проговорил Семен.

— Ну...

— А вот слушайте,—и он крикнул в сторону французов: Bonjour, monsieur!

— Bonjour, Bonjour! — откликнулись они.

— Как живете?

— А вы как?

— Очень скучно!— отозвался Семен, — хочу домой...

— Ого! И мы также... Послушайте, — послышалось со стороны французов, — вы парижанин? Вы так прекрасно говорите?...

— Может быть и так, но пока я — русский!

Французы с удивленим обступили Семена.

— Впрочем, — с лукавой улыбкой, отвечая на рукопожатие, говорил Семен, — мне перед вами нечего скрывать: я — Симон Франсуа, я был в Испании, воевал против наци, а когда они нас одолели уехал в Москву. Когда наци напали на русских, я пошел в ополчение и назвал себя русским. Теперь я — москвич!

Французы с недоверием слушали Семена.

— Вы давно уже из Парижа? — спросил один из них.

— Скоро уже семь лет... О! В Париже у меня осталась моя маленькая Женевьева!

— Ну за это время она сменила не мало Симонов! — рассмеялись французы.

— Но она никогда не забудет меня! — запальчиво и уверенно воскликнул Семен. — И через пару недель или раньше я увижу ее!..

— Вы едете во Францию?

— Да скоро... думаю — уклонился от прямого ответа Семен.

— Ну будете дома — передайте привет моей старой Барбаре, — сказал, подходя к группе разговаривающих, пожилой француз.

— Рад выполнить поручение, старина! Дайте только адрес...

Пожилой француз назвал себя...

— Андре Марсель?!..—Едва не выронив записную книжку, воскликнул Семен, — у вас была дочь Женевьева?...

Француз с удивлением смотрел на взволнованного «русского»: — Да была дочь, но еще глупой девченкой, один молодчик по имени Жульен сманил ее с собой. Говорили, что ее видели в Испании.

— Так, значит, вы отец Женевьевы? — тем же взволнованным тоном спросил Семен, едва не сказав: «моей Женевьевы».

— Так вы знакомы с ней?

Семен решил исправить положение и уже спокойно заметил: — О, Женевьев, которых сманивают молодые проходимцы много! Жалею вас, старина...

—Файерабенд! — раздался крик от бараков,— шнель, шнель, камерад, в барак!.. — кричал, путая немецкие и русские слова, солдат.

— Досвидания товарищи!, — стал прощаться Семен,— спасибо за беседу...

* * * * * * * *

Утром на станции было оживление. Красавец поезд «Варшава — Париж» непривычно застыл на фоне по-

крытого инеем леса. Впереди была катострофа: товарный поезд сошел с рельс, на некоторое время закрыв путь.

— Все идет по заранее намеченному плану! —шепнул Семен Игорю, когда они шли на работу мимо, горящих под лучами утреннего солнца, зеркальных окон «Митропы». — Шахматы расставлены, Игорь...

В этот день работа тянулась мучительно долго. Казалось, что дню не будет конца. Раздражали разговоры товарищей о причине катострофы. «Наши братья не дремлют!» — сказал кто-то. «А вы спите!» — с усмешкой подумал Игорь. Семена подмывало мальчишеское настроение сказать им: «сони, вы, сони. Ничего-то вы не слышите...» — и он с трудом сдерживал себя. «Вы и в эту ночь, друзья мои, будете спать сном младенцев.»

Эта ночь наступила. Барак спал. Немцы у себя в деревне встречали «Вейнахт». На станции стояла тишина, придавленная непроницаемым туманом. Такие туманы часты под Берлином в это время года. Тяжелый иней висел на проводах, падая иногда безшумно огромными хлопьями. Ожидалась тревога и станционные фанари не горели. Затемненный поезд «Митропа», скрытый туманом и ночью, готовился к отправке — путь впереди был свободен.

Два темных, расплывающихся в тумане, силуэта отделились от штабеля шпал. Нужно было быстро миновать открытое пространство путей: перепрыгнуть через канаву, перебежать рельсы.

—Хальт! — раздался окрик и из-за штабеля выплыл еще один силует. «Жандарм!» мелькнуло в голове и, увернувшись от протянутой руки, Игорь, пригнувшись побежал в сторону поезда. Хлопнул пистолетный выстрел. Семен увидел, как упало на рельсы темное пятно бежавшего товарища и в тот же миг, вложив всю силу в удар, он обрушился на жандарма. Жандарм охнул, присел и упал раскинув руки. «Прекрасный нок-аут» — подумал Семен уже на бегу, но что то ударило в спину, сбило с ног. «Конец!... Нет, нет...» Хотелось крикнуть: « Женевьева!... » Теряя сознание, Семен услышал шум тронувшегося поезда.

— Проклятье! — со стоном прохрипел жандарм, роняя на снег руку с пистолетом, и вновь упал головой на обледенелый шлак.

ДЖОН СТАЙНБЕК (род. 1902)

(Краткие сведения о жизни и творчестве)

Детство и юность Стайнбек провел в Калифорнии, в городке Салинас, который потом стал местом действия многих его романов и новелл. В университете он занимался только тем, что его интересовало, и по окончании не стал сдавать экзамена. Выйдя без диплома в жизнь, он, как истый американец, перебирает десятки профессий: матрос, репортер, каменщик, плотник, поденщик на фермах — пока не возвращается домой, в Калифорнию. Здесь он получает должность сторожа одинокого дома на берегу озера Тагоре и, в долгие зимние вечера, начинает писать.

В 1929 г. выходит в свет его роман «Золотая чаша» из жизни пиратов. Это был четвертый из написанных; первых трех Стайнбек так и не опубликовал. Роман успеха не имел. Незамеченными проходят и два следующих. Только три тысяи экземпляров разошлось из всех трех изданий. Но Стайнбек упорно продолжает писать. Успех приходит в 1935 г., после выхода романа «Равнина Тортилла», где с большой нежностью и юмором изображены жизнь и нравы «люмпен — пролетариев» в наполовину мексиканском, наполовину американском приморском городишке. Эти дикари и бездельники, жизнь которых заполнена только двумя занятиями, пьянством и воровством, изображены с глубокой симпатией и в тонах веселого гротеска.

Следующий роман «О мышах и людях» (1937) приносит Стайнбеку настоящую славу. Герои здесь — сезонные рабочие на фермах, дети калифорнийских просторов и люди без своего угла. Роман насыщен драматическими ситуациями, и поэтому скоро на его сюжет появились фильм и многочисленные инсценировки, которые до сих пор ставятся на европейских сценах. Вершину литературного успеха Стейнбек достигает после опу-

бликования романа «Гроздья гнева» (1939 г.), который критика объявляет «самым популярным социальным романом Америки со времен „Хижины дяди Тома“». Сюжетом он взял передвижение беженской семьи с востока на запад, ее лишения и бедствия.

За год до этого, Стайнбек показал себя первокласным мастером новеллы, выпустив сборник рассказов «Большая долина» (1938 г.), где разнообразие тем и персонажей объединяется одним местом действия — родной ему Салинской долиной.

С 1939-47 г.г. он выпускает несколько романов, из которых особенно выделяется «Месяц зашел» (1942 г.)— о немецкой оккупации в Норвегии.

Сейчас Стайнбек, пожалуй, один из самых прославленных писателей мира. Ничьи книги в Америке так не раскупаются и не ожидаются с таким интересом, как его. Наверно потому, что его произведения удивительно просты, их не надо постигать они сами входят в читателя. Среди литературных фигур Америки есть более замечательные, но, пожалуй, нет более симпатичной чем Стайнбек.

Сам Стайнбек, несмотря на успех, очень подозрительно относится к своей славе и до крайности строг к себе: говорят, что количество его неопубликованных романов намного перевышает число выпущенных в свет. Его литературное мастерство, чистота стиля, легкость и простота языка, тонкость психологических зарисовок, скупая точность описания и умение пользоваться деталью—восхищают как литературного гурмана, так и рядового читателя. Публику привлекают его особенная мягкость, неуловимая смесь реализма с романтикой, а также лиризм и юмор, с какими он выводит своих персонажей — батраков, праздношатающихся, уличных женщин, — всякого рода бедноту, противопоставляя свободных людей природы, калечащей их цивилизации. Это для нас особенно ценно в эпоху, когда мы все особенно остро чувствуем на себе плоды цивилизации.

В. Марков

Джон Стайнбек

ПОСЛЕ СУДА ЛИНЧА

Прибой возбуждения, толкотня и крики в городском парке постепенно сменились тишиной. Толпа все еще стояла под деревьями; синий уличный фонарь в отдалении бросал на нее белый свет. Покой усталости спустился на людей. Некоторые стали исчезать в темноте. Парковые клумбы были вытоптаны толпой.

Майк понял, что все закончилось. Он чувствовал себя расслабленным и усталым, как будто несколько ночей не спал. Но эта усталость была сонная, приятная, пьяная. Он надвинул козырек на глаза и пошел прочь. Но перед тем как уйти из парка, он оглянулся, чтобы посмотреть в последний раз. Кто-то из толпы зажег свернутую в трубку газету и поднял вверх. Майк видел, как пламя зашевелилось у ног серого обнаженного тела, свисавшего с дерева. Странно, что мертвые негры становятся синевато — серыми, подумал он. Пылающая газета освещала задранные вверх головы застывших, онемелых людей. Они не спускали глаз с повешенного.

В Майке поднялось тихое возмущение к тому, кто хотел поджечь труп. Он обернулся к стоящему рядом в полутемноте человеку. «Не имеет смысла», сказал он. Человек, ничего не возразив, отодвинулся в сторону. Газетный факел потух, и парк стал еще чернее, чем раньше. Но сразу же кто-то зажег и поднял к ногам новую газету. Майк подошел к другому человеку, который тоже стоял и смотрел. «Не имеет смысла», повторил он. «Ведь он уже мертвый. Теперь ему не больно».

Второй человек что-то буркнул, не отводя глаз от горящей бумаги. «Правильно» проговорил наконец он. «Страна на этом съэкономит много денег, и никакой паршивый адвокат не вмешается». «Я того же мнения», поддержал Майк. «Никакой паршивый адвокат. Я только хотел сказать, что нет смысла поджигать его теперь». Человек продолжал смотреть на огонь. «Плохого

в этом тоже ничего нет».

Майк не мог оторваться от зрелища, он пил его глазами. Потом еще захочется вспомнить, рассказать кому-нибудь. Но странная усталость притупляла отчетливость картины. Рассудок говорил, что здесь разыгрываются ужасные дела, но глаза и чувства не помогали. Полчаса тому назад, когда он горланил вместе с толпой и дрался за право помогать при укреплении веревки, его грудь была настолько переполнена, что он даже внезапно заметил слезы у себя на лице. А теперь было мертвое, все ненастоящее; люди в темной толпе казались застывшими марионетками. В свете пламени лица были лишены всякого выражения, словно деревянные. Майк и себя чувствовал застывшим, ненастоящим. Наконец он повернулся и пошел прочь из парка.

Тихая боль стала подниматься у Майка в груди. Он ощупал себя: мышцы болели. Потом вспомнил: он был в первом ряду толпы, когда штурмовали ворота тюрьмы. Волна человек в сорок швырнула Майка об ворота, словно таран. В тот момент он это едва заметил, да и теперь боль казалась какой-то тупостью одиночества.

Квартала на два впереди, над тротуаром висела светящаяся неоновая надпись «Бар». Майк прибавил шагу. Он надеялся найти там людей, поговорить с ними и отвязаться от этой тишины. Также надеялся, что эти люди не были там, с толпой. Хозяин, невзрачный человек неопределенного возраста, с меланхолическими усами и умной, как у старой мыши, мордочкой, нечесанный и немного настороже, был один в маленьком баре. Когда Майк вошел, он коротко кивнул ему, «Похоже, что вы бродили во сне», сказал он. Майк удивленно взглянул на него. «У меня как раз такое чувство: как будто я бродил во сне». «Дать вам чего-нибудь, чтобы проснуться?» Майк подумал. «Нет, у меня какая-то жажда. Дайте пива. Вы там были?».

Человечек опять кивнул своей мышиной головкой. «В самом конце, когда он уже висел. Но решил, что у многих после этого будет жажда, и вернулся открыть бар. Пока что, кроме вас, никого. Возможно, я ошибся». «Они наверно придут попозже», сказал Майк. Там в парке все еще стоят. Надо подождать пока в головах все уляжется. Один хотел поджечь его газетой. Но ведь это же не имеет смысла». «Никакого смысла»,

согласился маленький хозяин. Он перегнулся к Майку через стойку, сверкая глазами. «Вы там были все время... в тюрьме и потом?»

Майк отхлебнул еще глоток, потом посмотрел на пиво и на пузырьки, поднимающиеся со дна бокала. «Да», сказал он. «В тюрьме я был первым, и веревку помогал укреплять я. Бывают моменты, когда население должно взять закон в свои руки. А то придет какой-нибудь паршивый адвокат и даст мерзавцу ускользнуть».

Мышиная головка покачалась взад и вперед. «Вы правы, черт подери», заявил он. «Адвокаты могут вывести из чего угодно. Я думаю, негр в самом деле был виноват». «О конечно. Кто-то говорил, что он даже сознался». Головка опять перегнулась через стойку. «Как все это началось, мистер? Я туда пришел, когда все уже кончилось, а потом постоял с минуту и пошел отпирать бар, на случай, если кто из ребят захочет пива».

Майк осушил бокал и подвинул его, чтобы налили еще. «Конечно все знали, что так произойдет. Я сидел в баре напротив тюрьмы. Я был там весь день, с самого обеда. Потом пришел один парень и сказал. «Чего мы еще дожидаемся?» Тогда мы высыпали на улицу, там уже собрались люди, мы присоединились к ним. Мы стояли и орали. Потом вышел судья и обратился с речью, но его перекричали. Один парень с охотничьим ружьем пошел по улице и стрелял по всем фонарям. Хорошо. Мы двинулись на тюремные ворота и взломали их. Судья ничего не предпринимал. Я бы ему и не советовал стрелять по толпе честных людей, чтобы спасти одного мерзавца негра. Итак, судья стал кричать: «Берите только того, кого нужно, молодцы, ради Бога, не ошибитесь! Он в четвертой камере внизу». «Другие арестанты были напуганы до смерти. Я в жизни не видал таких лиц, как там, за решетками. Наконец подбежали к камере негра. Он там стоял совсем застывший, закрыв глаза, — как пьяный. Один из ребят свалил его, он опять вскочил на ноги. Тогда другой так стукнул, что негр полетел кувырком и стукнулся черепом о цементный пол». Майк облокотился о стойку и забарабанил указательным пальцем по отполированному дереву. «Это, конечно, мое личное мнение, но я думаю, что в этот момент он был убит. Я ведь потом помогал раздевать его, и он ни разу не шевельнулся, а

когда мы его повесили, он не болтал ногами. Нет, мистер. Я считаю, что после того, как второй парень брякнул его об пол, он был уже мертвый».

«Ну, это, в конце концов, все равно».

«Нет, не все равно. Если делать, так надо делать, как следует. Раз он заслужил, должен и почувствовать».

Майк порылся в кармане и вытащил рваную синюю тряпку. «Это кусок от его штанов». Хозяин подвинулся ближе и исследовал клочек. Потом, откинув голову назад, обратился к Майку: «Я вам дам за это серебрянный доллар».

«Нет, нет. Что вы!»

«Хорошо, я дам вам два доллара за половину». Майк недоверчиво посмотрел на него. «К чему вам это?»

«Дайте-ка мне ваш бокал. Выпьем на мой счет. Я прибью этот клочек на стенку, а внизу приклею надпись. Это понравится посетителям». Майк разрезал тряпку перочинным ножем пополам и взял от хозяина два серебряных доллара. «Я знаю одного художника, он пишет рекламы», сказал человечек. «Каждый день заходит сюда. Он мне изготовит картинку, а я прибью ее рядом». Он сделал озабоченное лицо. «Как вы думаете, судья кого-нибудь арестует?»

«Конечно, нет. Зачем ему поднимать шум? Там было сегодня много избирателей. Как только все они разойдутся, судья придет, обрежет негра и приведет все в порядок».

Хозяин выглянул за дверь. «Я, кажется, ошибся. Думал, они зайдут выпить. Уже поздно».

«Я пожалуй, пойду домой», сказал Майк. «Я устал».

«Если вы идете в южный район, то я пройду кусочек с вами. Я живу Сауз, номер восемь».

«О, это совсем недалеко от меня. Я живу Сауз, номер шесть. Вам как раз надо итти мимо моего дома. Странно. что я вас не встречал до сих пор». Хозяин вымыл бокал Майка и снял свой длинный фартук. Он надел шляпу и куртку, потом пошел к двери и выключил неоновый свет на улице. Несколько секунд оба стояли на тротуаре и смотрели в направлении парка.

«Видите?» сказал Майк. Как будто ничего не случилось». Они побрели по пустой улице в южном направлении, оставляя за собой торговый квартал. «Меня зовут Уэлч, сказал хозяин бара. «Я только два года в

этом городе».

Чувство одиночества опять охватило Майка. «Странно», произнес он, потом сказал: «Я в этом городе родился, в том же доме, где теперь живу. Женат, но детей нет. Жена тоже родилась в этом городе. Нас все знают».

Они прошли еще несколько кварталов. Магазины остались позади, и по обеим сторонам потянулись хорошенькие домики и садики с кустами и обстриженными газонами. Высокие раскидистые деревья, освещенные фонарями, бросали тень на мостовую. Уэлч тихо сказал:

Хотел бы я знать, что он был за человек, — этот негр».

Откуда-то из глубины своего сознания Майк произнес: «Все газеты писали, что он мерзавец. Я всегда читаю газеты. Они все так писали».

«Да, я их тоже читаю. Но как раз поэтому стоит призадуматься. Я знал очень хороших негров». Майк взглянул на него и, как бы защищаясь, возразил: «Ну и что же? Я сам тоже знавал чертовски милых негров. Я вместе с неграми работал, и они были лучше многих белых. Но ведь и среди них есть мерзавцы».

Уэлч на ходу плотно придвинулся к нему. «Красивые тут сады! Много наверно денег надо для ухода за ними». Он придвинулся еще ближе, так что его плечо прикоснулось к руке Майка. «Я еще никогда не бывал в таком деле. Какое чувство... после этого?»

Майк уклонился от прикосновения. «Совсем никакого». Он опустил голову и ускорил шаги. Маленький хозяин бара должен был почти бежать, чтобы поспеть за ним. Майк выдавил из себя: «Чувствуешь себя каким-то разбитым и поломанным. Но удовлетворенным. Только усталость и спать хочется». Он замедлил шаг.

«Видите, в кухне горит свет? Я там живу. Старуха ждет меня». Он остановился у небольшого домика.

Также остановившись, Уэлч беспокойно заговорил: «Заходите ко мне в бар, если захочется выпить бокал пива или виски. Открыто до двенадцати ночи. Приятелей я хорошо обслуживаю».

И он потрусил, как старая мышь, дальше.

«Спокойной ночи!» крикнул ему вслед Майк. Он завернул за угол своего дома и вошел с черного входа. Тощая сердитая жена грелась у открытой газовой плиты. С обвинением во взгляде она обернулась к остано-

вившемуся в дверях Майку. Потом глаза ее расширились и не двигаясь, уставились в его лицо.

«Ты был у женщины?» хрипло спросила она. «У какой женщины ты был?»

Майк засмеялся. «Ты думаешь, ты очень умная? Чертовски умная, да? Откуда ты знаешь, что я был у женщины?»

«Думаешь, я не могу угадать по лицу, что ты был у женщины?» резко спросила она.

«Прекрасно», сказал Майк. «Если уж ты такая умная и все знаешь, я тебе и не расскажу ничего. Можешь спокойно дожидаться завтрашней газеты».

В ее разочарованных глазах проскользнуло сомнение. «Это с негром, что-ли?» спросила она. «Все таки вытащили негра? Все говорили, что так будет».

«Ну вот и догадывайся сама, если ты такая умная. Я больше ничего не скажу». Он прошел через кухню в ванную. На стене висело маленькое зеркало. Майк снял кепку и посмотрел на свое лицо. «А она права», подумал он.

«У меня как раз такое чувство».

А. Горностаев

ПОЭЗИЯ Н. А. НЕКРАСОВА

Н. А. Некрасов был любимым поэтом русской интеллигенции. Его популярность держалась долго и упорно. Как это ни странно, но революция, для подготовки которой, косвенно конечно, не мало потрудился поэт, остановила рост этой популярности, несмотря на то, что официально никакого гонения на произведения Н.А. Некрасова не было. Напротив, «литературоведы», (нелепое и ничего не говорящее наименование), много и основательно занимались отцом русской гражданской поэзии, издавали семейные архивы Некрасова, мемуары и воспоминания о нем, выпустили новое издание его сочинений под добросовестной, и даже слишком добросовестной, редакцией К. Чуковского с разными дополнениями и исправлениями. Сам Маяковский похлопывал поэта по плечу, («Мы де с Колей на дружеской ноге и памятник ему дозволено поставить между мною, Маяковским, и А. С. Пушкиным»), но... «пагубен сей избыток добродетели».

Н.А. Некрасов не стал от этого популярнее в советской России, и, можно сказать, к нему, как к поэту, пришло незаслуженное охлаждение.

В чем же дело?

Приблизительно, в 30-х годах нашего века, когда официальные лакеи от коммунизма распинались в своей собачьей преданности принципам пролетарской литературы, доказывая классовую важдебность поэзии Пушкина и Лермонтова и не щадя самого основателя гра-

жданской поэзии Некрасова, какой то сатирик иронически воскликнул:

«Пушкин, Лермонтов, Некрасов —
Трубадуры чуждых классов».

Увы, эта ирония раскрывает нам истинную причину недостаточной популярности Н. А. Некрасова после революции 1917 г.

Слишком долго у нас после этого рокового события внедрялась, именно, внедрялась, а не распространялась, мысль о том, что направление писателя и содержание его произведений определяются его классовым происхождением и, что никакой талант, даже Пушкина не спасет от влияния того неоспоримого факта, что он был помещик и по-дворянски мыслил, чувствовал и творил. Эта пропаганда шла по всей стране через школу, печать, радио и делала свое дело. И если Пушкин, вопреки возражениям самого Ленина, был в глазах студенческой молодежи, (см. воспоминания о В. И. Ленине Н. К. Крупской) ниже Маяковского, то что же говорить о Некрасове? Правда, Некрасов попал в положение еще более горькое, чем Пушкин, ибо он вызвал к себе ненависть и справа, и слева; справа со стороны своих бывших поклонников за свою разрушительную деятельность в прошлом, выразившуюся в подготовке духовной почвы для революции в России, слева за свою буржуазность, помещичью власть, эксплоатацию крестьян, лицемерное преклонение перед народом и воспевание тех страданий, в причинении которых он сам, как «рабовладелец», якобы, учавствовал.

Теснимый с двух противоположных сторон, поэт утратил свою прежнюю власть над умами в современной России и стал понемногу переселяться в Пантеон тех великих теней, имена которых произносятся с уважением, а произведения почти не читаются, хотя и поются на вечерах и собраниях в качестве народных песен.

Правда, Н. А. Некрасов и при жизни вызывал к себе двойственное отношение: одни перед ним преклонялись, другие его неистово хулили, однако, равнодушия к нему никогда не было. Кажется, первый, кто возненавидел Некрасова, был Тургенев, который был до того времени связан с ним близкой дружбой. Но тот же И.С. Тургенев

имел мужество уже после ссоры с ним сказать: «А стихи Некрасова собранные вместе, в одном фокусе, жгутся».

Белинский писал о нем: «Какой это талант, и что за . стихи! ».

Оба были правы и знаменитый писатель, и великий критик. Но Некрасов был не только талантливый поэт, он был еще первоклассный журналист, тонкий и умный критик.

Он умел по рукописям начинающих авторов угадывать их будущее. Так он открыл Достоевского по рукописи «Бедных людей». В его журнале печатались и Лев Толстой, и Тургенев, и Достоевский, и Гончаров, и Писемский, и Григорович. Он первый издатель стихотворений Ф. И. Тютчева, а статья его об этом поэте изумительна по тонкости и чутью. Н. А. Некрасов был редкостный по талантливости редактор и отличный хозяин в журнале.

Будучи издателем и живя на доходы от этого издания, Некрасов не жалел денег на поддержку молодых авторов. Так, он щедро оплачивал блеснувшего своими первыми литературными опытами Николая Успенского и командировал его за границу за счет редакции, будучи уверен в том, что это принесет пользу молодому беллетристу.

И, между тем, этого талантливого поэта, журналиста, редактора и полезнейшего деятеля литературы всячески поносили, ругали, оклеветывали, не останавливаясь даже перед травлей. Кто то пускал слухи о том, что Некрасов чуть ли не порол своих крепостных, проигрывал их в карты и проч. Как ни гнусна клевета, сама по себе, но от нее остается падающая, даже на невинную жертву, черная тень. И такая тень легла на образ поэта. Историки литературы, в большинстве случаев,— любители падали и ее несвежего запаха. И это пристрастие их к непрятным ароматам оставило Некрасову двусмысленную репутацию. Некрасов очень болезненно реагировал на распространяемые вокруг его имени грязные слухи, но они были анонимны, и поэт чувствовал свое бессилие против безыменных клеветников. И это его страшно волновало. Не в одном из своих стихов поэт с негодованием или скорбью говорит о клевете.

Накануне смерти он пишет свое замечательное: «Баю,

баю, баю...» Это замогильная колыбельная, спетая, как бы матерью поэта, над предсмертным ложем своего сына:

Не страшен гроб, я с ним знакома,
Не бойся молнии и грома,
Не бойся цепи и бича,
Не бойся яда и меча,
Ни беззаконья, ни закона,
Ни урагана, ни грозы,
Ни человеческого стона,
Ни человеческой слезы.
Усни, страдалец терпеливый,
Свободной, гордой и счастливой
Увидишь родину свою —
Баю, баю, баю, баю.
Еще вчера людская злоба
Тебе обиду нанесла.
Всему конец, не бойся гроба,
Не будешь знать ты больше зла.
Не бойся клеветы, родимый,
Ты заплатил ей дань живой

О, презренная клевета! Сколько раз она нависала своей черной и хищной тенью над самыми чистыми именами. И разве жертвами ее не были Пушкин, Гоголь, Достоевский. Не избегнул этой участи и Н.А. Некрасов. И как мучительно реагировал он на разлитый вокруг него яд. Здесь Некрасов не один. Уже 22-летний Лермонтов впервые выходил на свои литературные подмостки с гневными словами о клевете, сразившей Пушкина:

Погиб поэт, невольник чести,
Пал оклеветанный молвой...

Сам Лермонтов был мучительной жертвой клеветы; с детских лет, она поразила его отца, и, как проклятие, легла на чело юноши, обреченного жить в разлуке с самым близким ему человеком.

Ужасная судьба отца и сына—
Жить розно и в разлуке умереть.

По подсчету Блока, клевета одно из наиболее часто повторяющихся слов в стихах Лермонтова. Сколько же

надо было вынести юноше от этого мерзкого приема, чтобы потом выжечь в мозгу это ползучее, как гадина, слово и носить его с собой, как кандалы на каторге, всю жизнь, хотя бы и короткую.

Н. А. Некрасов был мужественный человек. Он не лгал перед самим собой. Он умел каяться, когда к этому призывала его совесть. Умершая мать была олицетворением этой совести. И перед ней он раскрывал все язвы своей души.

Совесть песню свою запевает...
Будет время еще сосчитаться.
В эту тихую лунную ночь
Созерцанию должно предаться.

И дальше он пишет:

Неужели за годы страданья
Тот, Кто столько тобою был чтим,
Не пошлет тебе радость свиданья
С погибающим сыном твоим?
Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я спою тебе песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
О, прости, то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну и ради спасения
Я твою призываю любовь.
Выводи на дорогу тернистую,
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, низких страстей.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви...

Да, когда надо было, Н. А. Некрасов умел бичевать самого себя. И около тени любимой матери он не стыдился перед читателями, среди которых были и его клеветники, называть вещи своими именами. Но почему он ни разу не сознался в тех преступлениях, которые возводили на него клеветники? Почему он так упорно, даже на предсмертном одре, отрицает клевету и жалуется на причиненные ею страдания? Почему? Такие вопросы

вставали и в сознании современников поэта. И не случайно, написанное ему неизвестным автором, стихотворение «Не может быть»:

Мне говорят — твой чудный голос — ложь,
Прельщаешь ты притворною слезою,
Что словом ты толпу к добру влечешь,
А сам, как змей, смеешься над толпою.

Но их словам меня не убедить,
Иное мне сказал твой взор невольно,
Поверить им мне было б горько, больно—
Не может быть.

Н. А. Некрасов ответил на это трогательное послание стохотворением «Неизвестному другу, приславшему мне стихотворение «Не может быть», в котором, между прочим, писал:

Я призван был воспеть твои страданья
Терпеньем изумляющий народ,
И бросить хоть единый луч сознанья
На путь, которым Бог тебя ведет.
Но песнь моя бесплодно пролетела
И до народа не дошла она,
Одна любовь сказаться в ней успела
К тебе, моя родная сторона.

В этом безыменном голосе общественного мнения сказался высший нелицеприятный суд общества над поэтом, вынесший ему оправдательный вердикт. Было проявлением высшей жестокости вновь пересматривать это дело, и однако литературоведы, эти палачи по призванию, находят нужным в сотый раз перемывать косточки давно умершего поэта. Для них Некрасов остается вечным подсудимым, не имеющим права на окончательное рассмотрение своего дела. Но нас интересует не эта искуственно созданная темная страница в биографии Некрасова, а его подлинная жизнь, с неоспоримыми ее фактами и творчеством. Ибо это главное.

* * *
* *

Есть у Некрасова одно небольшое стихотворение, которое можно было бы назвать ключом чуть ли не ко всей его поэзии.

Вчера один часу в шестом
Я шел через Сенную,
Там били девушку кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал играя.
И Музе я сказал: гляди:
Сестра твоя родная.

Если сопоставить с этими строками следующие:

О, Муза, я у двери гроба,
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба.
Не плачь, завиден жребий наш,
Не надругаются над нами:
Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому кровному союзу.
Не русский взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную музу.

— то станет понятным многое. «Кнутом иссеченная Муза», это не одно уподобление. Некрасову не мало доставалось в жизни. Тяжела была его юность в семье самодура — отца, тиранившего любимую мать поэта, тайно покинувшую дом своих родителей в Польше, чтобы выйти замуж за пленившего ее красавца русского офицера. Но за короткие дни счастья она заплатила годами унижений, издевательств, измен и даже побоев, которые она выносила только потому, что не хотела нарушать верности своей семье и преданности своим маленьким детям. Хрупкое создание польской аристократической семьи, она не могла вынести суровой и тяжелой обстановки, в которую ее заключил ужасный муж, и она умерла, едва успев благословить своего юношу сына на тайный уход из Ярославского имения в Петербург учиться и искать счастья среди чужих людей.

Под грозой величаво безгласная,
Молодой умерла ты прекрасная,
И такой же явилась ты мне
При волшебно светящей луне.

Тяжелы были и первые годы самостоятельного существования в Петербурге, в особенности после смерти матери, когда он, не имея ни гроша денег, в буквальном смысле слова, в погоне за жалким заработком вынужден был исполнять самую разнообразную, а подчас и унизительную работу, чтобы не пропасть с голода. И если гордый юноша, не желавший итти с повинной к своему отцу, которого он совершенно правильно считал виновником преждевременной смерти своей матери, не погиб, то лишь потому, что он проявил бездну энергии, находчивости и несомненного таланта не только литературного, но и практически житейского.

Однако, Некрасов, вопреки всем препятствиям и противодействиям судьбы вышел на самостоятельный путь, стал литератором, поэтом, издателем и редактором лучшего в России журнала, приобрел имя, как популярный поэт, и все таки, какой то неумолимый рок преследовал его, следуя за ним по пятам и жаля его тем больнее, чем больше он имел успеха.

За что же преследовали Некрасова его тайные враги? Конечно, не за то, что он «играл в картишки» и получал доходы от литературных — предприятий, а за его стихи, Ибо в стихах этих, (пусть даже лицемерно, как это утверждали клеветники, согласимся на минуту с этой чудовищной нелепостью), поэт заговорил еще до Достоевского об « униженных и обиженных », о голодных и бездомных, ибо он сам прошел тяжелую школу нужды в огромном городе, каким тогда уже был Петербург. Он, видевший язвы крепостного права, громко заговорил о крестьянском горе, и он первый еще до Тургенева заявил о праве крестьянина на свободу. Он первый, не забывайте того, что первый, показал величие души крепостной русской крестьянки, которая духовно оставалась свободной, благодаря глубоким моральным достоинствам, воспитанным в душе русского народа религией. Он дал образ рабыни, являющейся образцом свободы, понимаемой в самом высоком смысле, в каком только возможно представить свободу человеческой личности. Он первый внес в русскую поэзию изображение города с его нищетой и бедностью. Он рассказал о трагедии женщины, продающей свою любовь из-за крайней нужды («Еду ли ночью по улице темной»), он показал русскому читателю — эстету и барину, а

другого читателя тогда почитай что и не было, что в городах есть не одни салоны и гостинные, а и дома терпимости, тюрьмы и больницы. Он рассказал ему о том, что в то время, когда он наслаждается, другие задыхаются и плачут.

Некрасов задел какую то вещую струну в русской лирике, которая никогда, очевидно, доколе звучит русское слово, не смолкнет. Струна эта — душевный надрыв, сквозь который проливается наша внутренняя драма — наши русские горести и страдания. Это роднит Некрасова с Достоевским. И недаром Мусорский, которого можно назвать Достоевским в музыке, любил писать романсы на слова Некрасова. Это тот русский надрыв, который звучит в наших просторах и слышится в наших народных песнях. Не тот больной надрыв, который мучительно останавливает ваше дыхание и леденит вашу душу, а тот надрыв, который, заронив внутрь вас еле щемящую боль, выносит ее на простор родных полей и лесов и примиряет вас с жизнью. Какое это русское, слишком русское чувство.

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.
Ой, беда приключилася страшная,
Мы такой не видали вовек,
Как у нас, голова бесшабашная,
Застрелился чужой человек.

И сошлися нежданно — негаданно
Хоронить молодого стрелка
Без церковного пенья, без ладана,
Без всего, чем могила крепка.

Деревенская драма рассказана Некрасовым необыкновенно трогательно. Вся деревня сходится хоронить самоубийцу, о котором осталась хорошая память по его кратковременным посещениям в охотничий сезон здешних мест. Самоубийц, как известно, не отпевали в церкви, но народ смягчал суровое религиозное правило и не только шел за гробом самоубийцы, но и сопровождал переход его в иной мир соболезнованиями, причитаниями и искренними слезами. И у Некрасова все плачут при

нецерковных похоронах самоубийцы.

А по ком ребятишки захныкали,
Тот наверно был доброй души.

Вот оно разрешение некрасовского надрыва, оно выражено в детском плаче по чужом человеке, покончившем свои расчеты с жизнью. Так человеческая драма разрешается примерением с неизбежностью горя. В этом чувствуется что то величественное, простое и мудрое, роднящее наш народ с древними греками, отношение которых к миру и жизни отображено в неумирающих драмах Софокла.

Н. А. Некрасов был истинный художник. Он не показывает народное горе в его абсолютной безвыходности, когда у вас не хватает воздуха от охватившего волнения и когда читатель подводится к той роковой черте, за которой могут следовать только проклятия и отчаяние. Так могут действовать лишь грубые пропагандисты, а не художники, ибо подлинное искусство всегда только переход в иной мир и настоящее художественное произведение не призыв к мести и топору, а ступень, по которой человек поднимается ввысь, преображая действительность в том видении мира, которое именуется искусством. Искусство примиряет, а не возмущает. Даже такой талант, как Адам Мицкевич, и тот срывался в плоскость грубого натурализма и бесстыдной пропаганды, когда писал свои мятежнические стихи. Да и не один Мицкевич пережил эту участь, отступая от заветов художника и уходя на рынок общественности и революции в сторону от искусства.

Иные ему изменили
И продали шпагу свою.

Драма Н. А. Некрасова заключается в том, что и он пережил соблазн революции и заплатил ей не малую дань. Прекрасная идея его раскрытия народного горя в поэтических произведениях, проповедь освобождения крестьянина от крепостного права, повествование о величии народной души, возвеличение русской крестьянки, поставленной по заслугам выше жен декабристов в «Русских женщинах», все это толкало Некрасова на сближение с русскими революционерами; и здесь поэт проявил слабость, поддавшись этому соблазну. Его дружба с Чернышевским и Добролюбовым и деловые отно-

шения с ними по редакции «Современника» оказали на него глубоко отрицательное влияние, не только в смысле приобщения его к группе разрушителей русской государственности, но и в поэзии, что гораздо страшнее политических заблуждений. Отсюда возникали неверные фальшивые ноты в его лирике, низводящие поэзию до положения простой публицистики, отсюда неудачные замыслы и осуществления, как в «Кому на Руси жить хорошо», так и в других мелких и крупных его произведениях.

Талант Некрасова, разумеется, спасал даже и слабые создания его соблазненной и павшей музы, но он неумолимо влек его в болото революционной общественности и губил художественное достоинство многих его творений. Между тем сила Некрасова далеко не в его революционных стихах. Она вся в проникновении его в душу русского народа и судеб России. Еще в 1857 году, после только что закончившейся Севастопольской войны, Некрасов написал знаменательные стихи:

Народ — герой. В борьбе суровой
Ты не шатнулся до конца.
Светлее твой венец терновый
Победоносного венца.

Н. А. Некрасов понимал многое в судьбе русского народа, и потому место его не с Чернышевскими и Добролюбовыми, которые в этом понимали весьма мало, чтобы не сказать большего. Драма Некрасова в том, что в нем боролись поэт и либерал, со свойственной людям этого ранга склонностью к политиканству. Когда одолевал поэт, из под пера его выходили такие вещи, как «Коробейники», «Что ты жадно глядишь на дорогу», «Похороны» (Меж высоких хлебов затерялося), «Ночка сегодня морозная ясная», «Рыцарь на час», «Тишина» и др. Когда же одолевал соратник Чернышевского, писались «Кому на Руси жить хорошо», «Размышления у парадного подъезда» и тому подобная проза в стихах.

Н. А. Некрасов несомненно религиозен. Религиозным чувством окрашиваются почти все его автобиографические стихи. Это чувство он перенял от матери, которую так любил при жизни и память о которой так чтил после ее смерти.

Из за могилы слышит он ее голос:

Не бойся горького забвенья:
Уж я держу в руке моей
Венец любви, венец прощенья —
Дар кроткой родины твоей.

Этот дар кроткой родины и самая кротость ее, в свою очередь, дар Православной Церкви. Некрасов не только не чужд был ее священной сени, но не раз приходил к ней, когда нужно было «размыкать русскую печаль».

В церкви провел я то утро ненастное,
И не забуду о нем.
. . . . .
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил
И облегченный уходил.
Войди. Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной.
Я внял... я детски умилился...
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений предстоящих
Пред этим скудным алтарем.

Народность Н. А. Некрасова проистекает из религиозного восприятия русской природы, жизни и русской истории. Так воспринимал все это сам народ, и тот, кто пожелал быть русским национальным поэтом, должен был встать с народом на одну и ту же почву.

Русские поэты вообще были религиозны. Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, Майков, Некрасов, Мей, Бальмонт, В. Иванов, А. Блок. Дальше идет срыв. Бард большевизма Маяковский конечно безбожник. Но разве ему к лицу поза молящегося?

Еще Ключевский в своей изумительной статье: «Грусть» охарактеризовал Лермонтова, как поэта всецело религиозного, стихи которого написаны на тему: «Да будет воля Твоя». И действительно, Лермонтов поэт молитвы.

И, как таковой, не имеет себе равных, за исключением одного Тютчева с его необыкновенным: «Эти бедные селенья». Следующее место по праву принадлежит Некрасову. Здесь та же проникновенность, но только с более скромными поэтическими средствами.

Касается ли поэт детски чистого чувства веры, повеявшего от храма на горе, или покорности народа в исполнении долга перед родиной в дни войны, описывает ли он русскую природу с ее умиленными просторами и шопотом неземных голосов, в его голосе слышится смирение верующего русского крестьянина, дяди Власа, собирающего по всей Руси копейки на построение Божьего храма.

Вслушайтесь в нижеприводимые слова и подумайте над тем, каким надобно было быть покорным сыном своей родины и самой матери Церкви, чтобы так чувствовать, как чувствовал Некрасов вскоре после войны 1854-55 годов.

Опять пустынно тих и мирен,
Ты, русский путь, знакомый путь.
Прибитая к земле слезами
Рекрутских жен и матерей,
Пыль не стоит уже столбами
Над бедной родиной моей.
Опять ты сердцу посылаешь
Успокоительные сны,
И вряд ли сам припоминаешь,
Каков ты был во дни войны,
Когда над Русью безмятежной
Восстал немолчный скрип тележный,
Печальный, как народный стон,
Русь поднялась со всех сторон.
Все, что имела, отдавала
И на защиту высылала
Со всех проселочных путей,
Своих покорных сыновей.

Скорей туда в родную глушь.
Там можно жить, не обижая
Ни божьих, ни ревизских душ
И труд любимый довершая.
Там стыдно будет унывать

И предаваться грусти праздной
Где пахарь любит сокращать
Напевом труд однообразный.
Его ли горе не скребет?
Он бодр, он за сохой шагает,
Без наслажденья он живет,
Без сожаленья умирает.
Его примером укрепись,
Сломившийся под игом горя.
За личным счастьем не гонись,
И Богу уступай, не споря.

Сопоставьте с этими стихами финал из «Кому на Руси жить хорошо» —

Битву кровавую
С сильной державою
Царь замышлял,
Хватит ли силушки,
Хватит ли золота,—
Думал — гадал
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка Русь.

Боже мой. Если бы так чувствовали революционеры России, то у нас никогда не было бы революции. Таких и подобных им стихов можно было бы привести сотни. Во всяком случае, к революционерам мы Некрасова не отнесем, он принадлежит нам, а не им. Большевики нагло присваивают себе не принадлежащие им имена. Они пытаются отнять у русского народа не только Пушкина, которого еще так недавно они клеймили, как представителя дворянства, а теперь считают чуть ли не коммунистом, но и самого Александра Невского и Петра Великого, Суворова и Кутузова. Но в, конце концов, мы могли бы отдать им Некрасова — либерала, но Некрасова поэта мы им никогда не отдадим, да они и неспособны ни понять его, ни овладеть им по настоящему, так же, как они не в силах овладеть ни Святым Александром Невским, ни грешным Петром Великим.

Некрасов не может быть ни познан, ни оценен там «за железным занавесом», он чужд им в сокровенных

глубинах своей музы. Он принадлежит всецело русской эмиграции, которая одна пока может его познать и оценить, пользуясь той свободой слова и печати, которой не существует в СССР. Именно, Некрасова, равно, как и других дорогих нам художников русского слова, возьмем мы в свои политические скитания.

Стихи его, в которых выражено столько любви к родине, к нашей назабвенной России, к нашему безценному народу—страдальцу, несущему еще более страшные кандалы чем те, которые нес он во время крепостного права, для нас являются не одной музыкой родной речи, но и надеждой на лучшие дни, когда мы сможем опять быть вместе. Они, вместе с тем, и школа для воспитания нашего юношества.

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль. *)

---

*) В связи с отсутствим у автора Собр. соч. Н.А. Некрасова, многие цитаты из произведений последнего, воспроизведны в настоящей статье на память.

В. Марков.

ЭМИЛИ ДИКИНСОН

В Америке нужно иметь сильный голос, если хочешь, чтобы тебя услышали. Надо или брать необыкновенных людей и бросать их в необыкновенные ситуации, как это умел делать Джек Лондон, или захлестнуть все, что существовало прежде, ниагарским водопадом новых образов, идей и ритмов, как это сделал Уот Уитмен, или, наконец, открывать обществу такие его стороны, в каких не всегда приятно сознаться, как отваживались на это Синклер и Драйзер. Потому-то и трудно поверить, что в этой стране жила вот эта рыжеватая девушка в белом платье с широкой рюшью вокруг ворота, которая смотрит на вас с портрета чуть косящим, полуиспуганным, полузадумчивым взглядом, а с большого неуклюжего рта готово сорваться какое-то слово, наверно тоже неуклюжее, но по своему значительное.

Правда, все это было сто лет тому назад.

Американские маленькие городки похожи на европейские, и поэтому нетрудно представить себе Эмхерст в штате Массачузет: одноэтажные маленькие домики с черепичными крышами; садики с живой изгородью; по воскресеньям звуки органа из единственной церкви, главная улица, где собака может спать весь день на самой середине, не боясь, что ее кто-нибудь переедет. В таком городке, в таком домике, с таким садиком живет рыжеватая девушка. Строгая пуританская семья. Чопорный отец — адвокат и болезненная мать. Все чинно и прилично; обед со всеми церемониями. Смех в доме почти не раздается, ненужных слов не говорят. Рыжеватая девушка читает добродетельные английские

романы или гладкие стишки Лонгфелло из книжки с золотым обрезом. Сентиментальные подруги, дневники в небесноголубых обложках и мечты «вообще». Такой Эмили Дикинсон была до двадцати трех лет.

На двадцать третьем году Эмили едет в роковую поездку в Вашингтон к отцу, где он в это время представляет свой городок в конгрессе. И тут происходит какое-то таинственное событие, изменившее всю ее жизнь. До сих пор никто ничего толком не знает. Известно только, что рыжеватая девушка не избежала того, что «ангелы называют райским блаженством, дьяволы — адской мукой, люди — любовью».

«Один глоток; а чем же?
Платить пришлося мне?
Почти что целой жизнью —
По рыночной цене».

Муки было, очевидно, больше, чем блаженства, потому что вернувшись, Эмили на всю жизнь [а она прожила до 56 лет] закрывается в своей комнате на верхнем этаже, очень редко оттуда выходит и совсем не покидает дома. Как истая пуританка, она занимается кухней, держит в порядке комнату, но все, что вне дома, ее не касается. На окне разведен целый сад: папоротник, жасмин, гелиотропы и лилии в маленьких корзиночках. А ночью она сидит за столиком у старомодной франклиновской печки и что-то пишет. Никто не переступал порога этой комнаты. Только детей она изредка пускала к себе и рассказывала им сказки. Посещавшие дом гости удивленно оглядывались на существо в белом платье, бродившее по полутемным коридорам. К людям она не выходила, а если кто-нибудь из гостей играл на пианино, то сидела в соседней комнате и слушала. Если ее приглашали, то она, отрицательно качая головой, отвечала с улыбкой: «Не сердитесь. Я не привыкла к людям и не знаю, что говорить». И, что бы загладить неудобство, что-нибудь дарила гостю — перевязанный ленточкой пакетик с надписью — стишком, или две белых лилии. Если гость продолжал беседовать, она не уклонялась от беседы и высказывала вещи, какие не часто услышишь в светском разговоре.

«Ах, правда — такая редкость. Как красиво говорить ее».

«Жить по настоящему — сплошное ликование; даже только ощущать, что живешь, и то уже большая радость».

«Когда я читаю книгу, и вдруг становится холодно — холодно, так что, кажется, не согреет никакой огонь, тогда я знаю: это поэзия. Разве можно узнать по другому?»

«Я боюсь женщин. Женшины говорят, мужчины молчат».

В 1886 году она внезапно умерла. Ее смерти никто не заметил, как никто не заметил ее жизни. Родственники вошли в комнату, куда им не было доступа тридцать лет. Все ящики стола были полны исписанными клочками бумаги. Стихи! Что за стихи? Да и стихи ли? Короткие, кое-как срифмованные заметки, иногда всего в четыре строки.

† † †

Я никто. Ты тоже никто?
Вот мы и пара одна.
Только молчи, не проговорись,
А то осудят нас.

Как ужасно быть кем-нибудь,
Словно лягушкой, всю жизнь
Пред восхищенной трясиной
Имя свое твердить.

† † †

Пчелке неинтересна
Генеалогия меда.
Вот клевер для нее всегда
Самого знатного рода.

+ + +

Жемчужным кубком черпаю
В невиданном вине.
На Рейне, в бочке ни в одной
Такого хмеля нет.

Я пьяная от воздуха,
Оглушена росой;
По кабачкам несчетных дней
Летней бреду синевой.

Хозяин гонит пьяных пчел
С медовых трав к улью,
Бокал свой бросил мотылек,
А я все пью и пью.

Ангелы снежными шляпами машут,
Святые бегут к оконцам
Смотреть, как этот пьянчужка
Совсем прислонился к солнцу.

Родные издали томик ее стихов. Читатели отнеслись равнодушно. Критика отметила «искренность чувства», но также добавила, что рифмы большей частью плохие, ритм хромает, смысл подчас темный. До 20-х годов имени Эмили Дикинсон не было в энциклопедии. И вдруг в 1924 году появляется статья о ней и новое издание стихотворений. Все заинтересовываются. Издание начинает выходить за изданием: сперва стихи, потом письма, затем новонайденные стихи. Единственная наследница и владелица архива семьи Дикинсон становится богатой женщиной. Вырастает целая школа подражателей Эмили Дикинсон. Знатоки поэзии восхищаются смелостью ее образов, своеобразием и удивительной современностью ее стихов. Появляются научные изыскания об ее рифме, размерах тропах. Возбуждение растет, уже вся нелитературная Америка зачитывается биографией Эмили Дикинсон. Начинается охота за легендарным возлюбленным, который уже давно, по пу-

ритански чинно, гниет под мраморной плитой. Трудно что-либо установить. Самым ловким репортерам не удается найти следов. Ведь прошло уже сто лет. Версий множество: одни находят, что он был бедным студентом, который преследовал Эмили чуть ли не до дверей ее дома; другие уверяют, что это был муж ее подруги, да к тому же еще священник, и она ушла от мира, чтобы не разбивать чужую жизнь; третьи убеждены, что они даже тайно обручились, но не согласился отец. Это только главные варианты.

В 1930 году — сто лет со дня рождения Эмили Дикинсон. Увлечение достигает апогея. В театре идут пьесы из ее жизни, пресса полна легендами о ней. Ее объявляют сперва величайшей поэтессой английского языка (что не лишено оснований), а потом и всего мира (что уже сомнительно). Одно бесспорно: Америка открыла свою крупнейшую поэтессу.

Стихи Эмили Дикинсон... Исписанные клочки бумаги... Жизнь — монолог или, скорее, каждодневный диалог с собой; подробная фиксация во всех мелочах всех душевных состояний, от тишины до бури; миниатюры нутра. За сто лет до Марселя Пруста душевный мир одного человека был уже с микроскопической точностью зарисован. В этой поэзии нет разнообразных ландшафтов, людей, ситуаций, — а только одно подробное Я, да еще то, что видишь в окно:

«Спустилось небо, тучи злы;
А у снежинки — забота,
В какую сторону лететь,
К амбару иль к воротам.

Кем-то обижен, ветер весь день
Ноет на разные голоса.
Природу тоже застаешь
Без диадемы в волосах.»

или

«Птица гуляет по клумбе,
Не видя, что я наблюдаю,
Рвет пополам червяка
И так, сырым, поедает».

Каждый поэт видит мир по своему. У одного все, что он видит и слышит, проходит внутрь по прямому проводу и мы получаем более или менее реальную картину, у другого фантазия изменяет все до неузнаваемости, так что угадать отправную точку невозможно. Нужно представить себе Эмили Дикинсон, чтобы ближе подойти к ее творчеству. Она ушла из мира людей и закрыла за собой дверь, но зато открыто окно: небо, облака, звезды — для поэта уже достаточно:

Я не была в степи
И в море не была.
Но знаю, как цветет ковыль,
Как выглядит волна.

Я с Богом не говорила,
В небесах не была никогда,
Но, словно карта лежит предо мной
Я знаю путь туда.

Неизвестное нам личное горе отделило Эмили Дикинсон от окружавших ее раньше людей, оставило ее до конца дней в чистом девичестве, сохранило в ней ребенка. А ребенок — уже половина поэта. Взрослый, потрепанный жизнью и расплескавшийся там, где не надо человек мало во что верит, а ребенок верит во все; надевает бумажную шляпу и никто не убедит его, что он не полководец. Для взрослого игра — глупость, несерьезная затея, а ребенок, верящее и нерасплескавшееся, самой природой собранное существо, живет в игре. А игра — уже творчество.

Но ребенок может играть и с самыми неподходящими предметами: с отцовским вечным пером, с коробкой спичек, т.е. с вещами, за игру с которыми взрослые поставят в угол. Эмили Дикинсон, как ребенок, видит мир во всей свежести, как будто в первый раз и играет с ним; ей дан большой талант, — она с ним играет; ей даны прозрения в глубочайшие жизненные тайны, — с ними она тоже играет; получается гротеск или парадокс.

«Любезно смерть зашла за мной —
Ведь я то не могла.

В коляске, кроме нас двоих,
Бессмертье ехало...»

«Мне кажется, коли считать,
Сперва — поэт, потом
Идут уж солнце, лето, рай —
Вот список и готов...»

Иногда шалость уже переходит границы доступного ребенку, и тогда Дикинсон почти напоминает озорного эльфа из «Сна в летнюю ночь»:

«Вечер мягко свет зажег, —
Словно зал астральный.
И сказала небу я:
— Как вы пунктуальны!..

Подчас глубокая тема сводится к игре слов, совершенно непереводимой. Это тоже по детски. Ребенка часто форма занимает больше, чем смысл. «Раз — два, голова; три — четыре, — прицепили; пять — шесть, кашу есть». Какой тут смысл? Тут детское опьянение рифмой. Почти все игровые считалки — блестящий образец детского «футуризма». А ведь это поэзия, настоящая поэзия, больше поэзия, чем «Ода на взятие Измаила» или «Отдай мне эту ночь».

Ребенок не любит и не понимает абстрактного. Он знает, что такое лошадь, больно, красный, но слава Богу, не знает, что такое надежда, великий народ, задушевно. Взрослые понемножку искалечивают его, и годам к двадцати ребенок перестает быть ребенком, начинает делать подлости и разбираться в том, что такое добро и зло.

Но Эмили Дикинсон убежала из мира, где она потерпела фиаско, в гораздо больший мир, — в космос. То, что она видит там, невыразимо обиходными словами, и абстракции неизбежны. Она и не избегает их. Она только, как мы уже видели выше, сажает бессмертие с собой в коляску и преспокойно едет, пошучивая со смертью. Она конкретизирует абстракции с гениальной простой, как сделал бы всякий ребенок. Надежду и страх она встречает, здоровается с ними и даже дразнит их. Аллегорические темы разрабатываются совер-

шенно по домашнему:

«Я голодала много лет,
И вот обед настал.
Коснувшись странного вина
Я с дрожью придвинула стол...»

Этому помогает еще и то, что Эмили Дикинсон — пуританка, т.е. женщина, для которой плита и сковородка идут сразу же за Библией и церковной кафедрой. Кухня и гардероб снабжают ее метафорами самого конкретного свойства. Поэтому у нее пальцы ветра причесывают небо, а горы в венчиках и с рюшью вокруг ворота сидят в ландшафте, как в вечных креслах. Ведь такая рюшь была у нее самой на платье, а кресло ландшафта наверное то самое кресло, в котором она писала стихи.

Здесь уместно вспомнить о наших современных поэтах, которые отчаянно роются в памяти и в окружающем для приискания образа поинтереснее. Но ценность этого своеобразия сразу становится сомнительной, если сравнить их с Эмили Дикинсон. Когда современный поэт пишет, что лебедь похож на нотный ключ, то это может быть красиво, но как-то ненужно, а когда не то свист бомбы, не то сирену он сравнивает с гвоздями, забиваемыми в ухо, то это может быть и выразительно, но уж как-то неприятно и даже не художественно; потому что надумано. И приходит опять на память высказывание Гете о романтиках: «До чего же пуст этот вычурный сосуд!» А когда у Эмили Дикинсон смерть с совком и метлою приходит на большую уборку, или надгробный памятник уподобляется накрытому мраморному чаю для мертвого, то эти образы взяты вот здесь, рядом, не задумываясь. Настоящая оригинальность всегда естественна. В показном оригинальничании Дикинсон упрекнуть трудно, если вспомнить, что она писала не для печати и даже не для узкого круга, а только для себя.

Но Эмили Дикинсон не только ребенок и пуританка. Это — глубокая религиозная натура. Она видит скрытое в окружающих ее вещах. И здесь совершается обратный процесс: простые, конкретные вещи приобретают особый смысл, моментальные фотографии из окна

становятся аллегориями, природа принимает мифические очертания. Ночью, в своей комнате, рыжеватая девушка постигает, что птица, дерево, гора, звезда — это частицы большого мирового мифа.

«Горы растут незаметно,
Пурпурные выси вздымая
Без одобрений, поддержек,
Не пробуя, не уставая.

Солнце с широкой улыбкой
Смотрит им в лица вечные
Долго и золотисто
За их компанию ночью».

Но религиозность тоже бывает разная: можно креститься на каждую церковь, но даже не подозревать, что такое Бог; а можно слыть богохульцем, будучи человеком глубокой веры. Для Эмили Дикинсон Бог не изображение в красках, которому по приказу родителей утром и вечером надо говорить какие-то слова. Для нее это совершенно конкретный Отец ее. Но ведь для ребенка отец никак не кажется непогрешимым. Но Эмили не только шалит, она обижается, она негодует на Бога.

«Ну, да, я молилась —
Услышал Бог?
Как будто птичка,
Просящая крох
По воздуху лапкой бьет
И молит: «Дай мне»..,

Это сочетание детски-непосредственного с глубоким и делают из Эмили Дикинсон большую поэтессу. Она часто касается высот, но всегда делает это без претенциозного глубокомыслия.

«Правда стара, как Бог, —
Это два близнеца, —
И будет продолжаться
Вместе с Ним без конца.
Вместе с Ним пропадет,

Если кто Его унесет
Из большого дома вселенной, —
Безжизненным божеством».

Список был бы не полон, если не упомянуть, что Эмили также и женщина, страдающая, потерпевшая неудачу в жизни женщина.

«Бог каждой птице ломоть дал,
Но только крошку мне...»

«Легче найти тенистого друга в жаркий день, чем теплоты в ледяные часы души»... жалуется она в письме. Уверяет, что ей было бы лучше:

«... В могиле атома лежать,
Ничем не быть и не шутить, —
Чем в этой милой нищете»...

Конечно, она не может забыть того, что оставила и что ей не досталось, хотя и говорит:

«Любовь, как все, переносим,
Кладем на дно ларя,
А там она выйдет из моды,
Как старый бальный наряд...»

Но иногда прорывается:

«Дикие ночи, дикие ночи!
Если б я была твоей,
Все б я забыла
В роскоши диких ночей!»

Опять заметим, что такие строки не предназначались для читателя, и неизвестно, что сказала бы Дикинсон, прочтя в стихах современных поэтесс описания их объятий с реальными или мифологическими возлюбленными. Наверно холод охватил бы ее, но не тот, который она ощущала, читая истинную поэзию.

«Душа избрала компанию
И дверь — на замок:
В святое уединение
Заказан вход.

Она недвижна; вот колесницы
Ждут у ворот.
Недвижна: вон король на колени
Встал на порог.

Одного заберет из толпы огромной
Двумя руками
И закроет вниманья рамы,—
Как камень».

Она ушла в себя. На публику расчета нет. Это все настоящее. Каждый день совершает она обход по собственной душе, фиксируя все оттенки, все уголки ее. Она, как Мариво, «проделывает тысячи лье по квадратику паркета». Разве не достаточно души одного человека? Разве есть в этом ограниченность? Симеон Столпник всю жизнь не сходил с одного места, но он видел Бога и можно еще поспорить, чьи переживания шире и ценнее — его или агента торговой компании, исколесившего весь мир.

Так рождается и совершенно особый стиль Эмили Дикинсон. Ее творчество — дневник, это обрывки, фрагменты, а не построенные по всем правилам произведения, где есть интродукция, разработка и кода. Это беглые впечатления, случайно пришедшие в голову мысли, оборванные на полуслове зарисовки. Так как это писалось «ни для кого», то она и не старалась делать все доходчивым и доступным. Поэтому некоторые места для нас темны. Если логически мысль должна итти так, что из А следует Б , а из последнего получается С и т.д., то у Дикинсон после А может итти С, так как Б для нее вещь сама собой разумеющаяся, которую не стоит упоминать. Строка у нее и так ломится от содержания, а при таком, как его называют «телеграммном» стиле достигается, предел сжатости и компактности.

«Мир очень пыльный,
Когда смерти пробьют часы.

Почести сушат горло;
Хотел бы росы...»

У нее в самом деле «словам тесно, а мысли просторно». Это тоже выродилось у ее последователей в пустую игру темными местами.

Дикинсон почти непереводима. Это «высокое косноязычье», о котором говорил Гумилев. Правильная, отделанная речь часто смахивает на униформу, всякое же косноязычье глубоко индивидуально. Неуклюжесть перевести труднее, чем отделанность. У других поэтов можно перефразировать мысль, здесь же такой процедурой легко все погубить. Очень своеобразны ритмика и особенно рифма у Дикинсон. Это опять-таки почти непереводимо, потому что развитие русской рифмы шло в другом направлении. При всех отступлениях от канонов, рифма Маяковского и Пастернака всегда прямая, «рифменное ядро» всегда налицо, и только в «туманности» происходят вольности. Рифма же у Дикинсон подчас намек на рифму, прикосновение сбоку, даже — символ рифмы. Трудно передать, не растеряв неповторимого обаяния, все эти неожиданные обороты, смелые и глубокие образы, употребление старых слов в новом значении — алхимическое оживление шаблонов — эти стихотворные лабиринты, которые поэтесса причудливо строит и потом сама в них играет.

Великих поэтесс на свете мало: женщины больше вдохновляли творцов, чем сами творили. Только несколько вершин возвышается в мировой поэзии: в Греции — Сафо, в Германии Аннета Дросте — Хюльсхоф, в Англии Елизавета Броунинг, в России — Анна Ахматова и Марина Цветаева. В Америке долго не было великой поэтессы. Теперь, с опозданием на сто лет, ее открыли, причем она оказалась совсем современной. Даже трудно поверить, что эти стихи написаны во времена гладкого эпигонства и дидактизма Лонфелло, Холмса и Уичера — так называемых американских «классиков». В этом отличие Дикинсон от перечисленных выше поэтесс. При всей глубине и своеобразии, каждая из них творила в более или менее традиционных рамках, а Дикинсон была крупным, хотя и бессознательным новатором. Америка может гордиться. У нее тоже есть своя великая поэтесса.

Р. Менский

ПУТЬ И МИР ПОЭТА

«Божией милостью — поэт», — пишут в «Посеве» и в альманахе «У врат» о Иване Елагине. Это верно, — «Без Бога ни до порога», — говорит русская пословица, — «Но Бог-то Бог, да не будь сам плох», — предостерегает другая. Изданный сборник стихов Ивана Елагина — «По дороге оттуда» утверждает, что автор не плох, что он по трудам своим получил Божие благословение: сначала поэтическое послушание, потом трудовой поэтический подвиг, келейничество у старцев поэзии и потом уже поэтическое пострижение.

Но что должен пережить бедный поэт, когда поздравляющие его с постриженем говорят: «А старцы-то ваши кривляки убийцы»

Мы уверены, что г-ну Елагину было не по себе, когда он прочел в альманахе « У врат », одобряющую его стихи рецензию, в которой сказано: «Русская поэзия не умерла. Не убили ее ни «диамат», ни кривляния Хлебниковых»...

— «Боже милостивый, — несомненно подумал поэт, — за что попирают великого старца? Прости им, Господи! Великого Хлебникова! Чудесного словотворца, первоклассного композитора поэтической мелодии, изумительного ваятеля неведомых до него образов, глубокого философа слова, поэта для поэтов. Он сблизил поэтическую ритмику с музыкальной, он научил лаконической фразой создавать яркие по красоте и динамической силе группы, могущие возбуждать зависть скульпторов; он дал новейшие образцы метафор, метанимий, аллитераций, звукописи, неонов и многих, до сих пор еще не изученных, поэтических троп: он же обновил строфику

и освежил рифмы... Это был настоящий поэт — жрец и пророк, предтеча религиозного искусства, восходивший от основ господствовавшего тогда реализма (социально-философского) к высотам религиозной истины. С этой истиной он связывал свои творческие задачи и из нее черпал свой идеал, освещающий ему общественное служение русскому слову, в полном самозабвенном подвижничестве. Это служение не приносило ему никаких материальных выгод, и он умер от голода, не будучи признанным ни до революции, ни во время ее. Где же благородная память о нем?»

При жизни В. Хлебников не издал ни одного сборника, хотя принципами его творчества пользовались все наши отечественные поэтические школы начала XX века: футуристы, эгофутуристы, кубафутуристы, неофутуристы, акмеисты, имажинисты, формалисты и многие поэты, не относящие себя к перечисленным группам.

Только в 1927-1928 г.г. литературоведы и поэты, вопреки официальным «установкам», собрали оставленное В. Хлебниковым большое наследство и издали в нескольких томах. Значительно позднее вышел сборник его избранных произведений.

Творческим сыном В. Хлебникова был Маяковский. Цвет современной русской поэзии — Н. Тихонов—(прямой последователь Н. Гумилева), Пастернак, Сельвинский, Н. Заболоцкий и, наконец, уже молодое талантливое поколение, в том числе и Иван Елагин, умножают свои творческие силы за счет поэтических родников Хлебникова.

И в этом нет эпигонства, а есть обычный путь не дилетанта, а подлинного художника слова.

Чтобы было еще более понятно, мы приведем следующий пример:

Перед нами лежит только что изданная книжка стихов — «Моя Муза». Мы не знаем автора, но по стихам и авторской иллюстрации догадываемся, — он инженер-строитель. Будь мы специалистами в этой области, смогли бы установить, где и у кого автор учился строительному искусству. Но у кого он учился писать стихи, об этом во всем сборнике нет никаких признаков.

Господин инженер, в рассуждениях по своей специ-

альности, скажет:

«В строительном деле и вообще в технике, специалисту без архива работать нельзя. Специалист не может всего знать, но должен знать, где взять знание. Много знаний мы берем в справочниках, а конструируем по «типу», с помощью архива. Например, по типу инженера X. или по типам X, У, Z. И мы по чертежам или по законченному объекту работы можем разобрать, что принадлежит творческим усилием автора — инженера, а что X, У, Z.

Это бесспорное положение следует признать и за искусством. Поэт так же не может не знать «типы» поэтических конструкций, не пользоваться справочниками слова и вообще игнорировать историю и науку литературной творческой мысли.

Так говорит история литературы. А.С. Пушкин, например, творил по «типам» Державина, Батюшкова, французов Андрэ Шенье и Буало, Парни, англичанина Байрона и др. Лермонтов —по«типу» того же А.С. Пушкина, Байрона и др. Наконец, наши поэты конца прошлого века и начала XX, пользовались русскими классиками, одновременно заимствуя принципы иностранцев Бодлера, Верлэна, Эдгара По, О. Уайльда и др., создавая современный им «тип» русской поэзии.

Такой обмен «технологическим» опытом и обуславливает взаимодействие национальных культур и постоянное пополнение мировой сокровищницы общечеловеческих ценностей искусства новыми литературными памятниками, живущих и ушедших гениев.

И нет такого железного занавеса, который мог бы прервать этот обмен в наше время. Это положение утверждается научно доказанным фактом, что даже фольклор, в том числе и наш древне-русский (сказки, былины), создан на, так называемых, международных бродячих сюжетах. Еще тогда, когда художественная литература была только устной, международный процесс обмена тематики и формы существовал.

Нет и таких сил, которым было бы дано вырезать кадры исторической эпохи, если они нам не милы, как кадры буржуазные или как духовного кризиса. Такая операция была бы равносильна ампутации нескольких лет жизни у человека.

Большевиков, за подобного рода попытки, история из-

девательски заставила поставить памятники вчера ими поносимым «феодальным» князьям Св. Александру Невскому и Юрию Долгорукому, а также «царско-крепостническому» генералу Багратиону.

Вернемся к стихам Ивана Елагина. Как можно судить по скромному сборнику — « По дороге оттуда », автор идет верным путем. Он изучил творческие материалы, общие конструктивные законы и, воспитывая свой эстетический вкус, отправился «в науку» к имажинистам: «Месяц-зеркала осколок»... (стр. 3), «Но я помню: всю ночь напролет»... (стр. 5).

Там, однако, он остается не долго. Не раскрывший себя до конца русский имажинизм не может удовлетворить серьезных творческих запросов поэта, и он уходит в обитель символизма:

„Скудеет мир, и гордых былей
Взывают голоса слабей.
Вино божественное вылей
И на камнях бокал разбей»... (стр. 8).

Поэт-послушник, с тонкой поэтической интуицией, обнаруживает печальную правду, что символизм прошлое, что он угас и угас не только от старческого одряхления, но, главным образом, от опустошения мира понятий, лежавших в его основе, и что символизму не гармонирует уже эмоциональный строй «обновленного» нашего бытия, с преобладанием казенного, грубого, прямого без символов и совсем не искреннего взаимоотношения людей.

Искреннее же чувство символизма: «Не читки требует с актера, а полной гибели всерьез», то есть, абсолютного растворения души поэта в человеческих страстях. Но, увы! и душа поэта и страсти человеческие, силою социального бедствия, загнаны в подполье, а «прекрасная незнакомка» символизма престала быть вдохновляющим символом. Она сменила шелк на солдатский ремень и, опоясавшись им, удалилась на скотный двор, в доярки, соревноваться и перевыполнять.

Из опустевшей обители символизма Елагин приходит к живым родникам поэзии Хлебникова-Пастернака.

Школа Хлебников-Пастернак — мир одинокого человака, хоть и условно одинокого, но абсолютно одиноко-

го, до потери ощущения времени:

„В кашнэ, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку кликну детворе:
—Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

(Пастернак).

Пастернак, обладающий хорошим философским, музыкальным и литературным образованием, является музыкантом и поэтом в философии, поэтом и философом в музыке, философом и музыкантом в поэзии. Он завершает начатое Хлебниковым и наводит логический порядок в творческих идеях общего им направления. К прежней схеме слова: «слово обыденное — символ разума, а слово искусства — символ чувства», добавляется третья формула — слово и его звук в искусстве — синтетический символ чувства.

Придавая особое значение звуку художественного слова (его фонетическому строению и функции), тем самым они сближают поэзию с музыкой, бессловесной выразительницей чувства.

В практическом осуществлении третьей формулы получают особое значение аллитерации и другие элементы поэтической техники. Их служебная функция направлена к выражению чистой музыки. Смысловая словесная ткань стиха обращается в либретто, мелодика — в музыкальное произведение, в синтезе получается новый словесно-музыкальный жанр поэзии:

„У старших на это свои есть резоны
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт“...

(Пастернак).

„Где у мола грузили арбузы
И таилась в камнях камбала,
Там мне музами были медузы,
А подругой татарка была!“.

Иван Елагин

Сводя слово поэзии к либретто, они не хотят его упразднить или умалить, наоборот, стремятся умножить его символический объем, превращая в комплекс средств

художественного воздействия и обращаясь к комплексу чувств восприятия.

В этом они на одном пути с западными экспрессионистами.

Далее они считают, что в хаосе социальных бурь современный человек утратил способность осязать окружающие детали. Порабощенный мировыми проблемами, он стал космополитом, бродягой, потерявшим психологическую оседлость.

Господствующие в наш век социологии разрешают уму и чувству человека касаться объектов не ниже государства. В этом трагическое заблуждение человечества. Поэт Пастернак доказывает, что в мире Божием велика каждая былинка, что промысел Божий появляется всюду и в каждой детали:

„Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку
Клинового листа
И с дней Экклизиаста
Не покидал поста
За теской алебастра"...
(Пастернак).

Логика художественных образов поэта призывает человечество вернуться из космического странствования в свою квартиру и в себя самого, где не менее проблем и тайн, чем в космосе. Потенция силы, по слову науки, выше в «микро», чем в «макро» величине. В этом состоит осознание поэтом современного духовного кризиса. Спасение он указывает в познании деталей жизни, без которых она не подробна:

„ . . Кто велит...
Чтоб мелкий лист ракит
С седых карпатид
Слетал на сырость плит?..
Ты спросишь: „ кто велит?—
—Вселенский Бог деталей,
Весенний Бог любви,
Ягайлов и ядвиг.
Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь как тишина
Осенняя, — подробна. (П.)

«Новый» Человек, в полном пренебрежении к настоящему, всецело-устремлен в проекцию будущего.

„Телегою проекта нас переехал новый человек". (П.)

Этот политический «футуризм» лишь симпатическое явление основного заболевания: общей интоксикации социального организма материалистической доктриной.

Но все это может преодолеть психологическая оседлость, пантеистическое растворение собственного «я» в собственном доме и окружающих его деталях.

„Перегородок тонкоребрость
Пройду насквозь, пройду, как свет,
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.
Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней,
Зовется жизнию сидячей,—
И по такой грущу по ней.
(Пастернак).

Внимание Пастернака к деталям бытия сближает его с Прустом, решающим в искусстве проблему детали психологических состояний и движений.

Отказавшись последовать за толпой в космосе, поэт оказался один, в кругу домашних вещей и того, что можно видеть из окна. Все, что с ним осталось, он одухотворяет и беседует, как с живым и равным, Лишь изредка любимая и друг, в воспоминаниях, заглядывают в его стихи. Но в его душе нет места для уныния и истерических крайностей. По завету своего великого предка, он выполняет подвиг любви и служения родному русскому слову:

„ не как бродяга, родным войду в родной язык". (П.)

Творческие экстазы поэта достигают мучительных размеров:

„О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!.."
(Пастернак)

Поэзия Пастернака далека от экспериментального психологизма, далека от вульгарного реализма и не соприкасается с живописью (ни одного портрета и ни од-

ного полного пейзажа). Она философична в каждом своем стихе. В ней дан глубокий анализ человеческого духовного кризиса и предопределен путь его преодоления. Может быть, поэтому стихи Пастернака («пастернаковщина») и кажутся сложными и трудными для восприятия. Поэт это предвидел, зная, что ушедший человек от самого себя в космическую сложность, разучится понимать «простое» собственное «я». Простое, обыденное и нужное человеку станет непонятным, а сложное и не нужное — само собой разумеющимся: «(простота) нужнее людям, но сложное понятней им»... (П,)

Починить часы согласится только мастер, а государственный механизм каждый.

Дорогого Ивану Елагину учителя мы оставляем в одинокой, холодной комнате, в атмосфере неприязни и укоров обезумевших космополитов. Осенний ветер за окном обрывает с деревьев последние листья, «иссурмленные рядном сквозных красивых трепещущих курсивов».

Еще одна зима...

„И опять кольнут до ныне
Не отпущенной виной
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной".
(Пастернак).

Так поэт продолжает ждать конца безумству толпы и возвращения человечества в свои заброшенные квартиры, в свое «я», чтобы совместно со всеми установить гармонию отношений: «я» — «деталь» — вселенная.

Психологический процесс, с заторможенным зрительным восприятием у поэта, отразится на качестве и количестве его лексического обихода. Например, одинокое домашнее затворничество даст особую схему словесного творческого запаса. Это произойдет даже и в том случае, если одиночество будет творческим, условным. Словесная схема Пастернака обусловлена его творческо-философским мироощущением и потому она органична в его стихах. Но, будучи заимствованной, теряет органичность, превращаясь в «одежду с чужого плеча». Создание своего оригинального миропонимания является делом весьма сложным, связанным с воспитанием, образованием, так как не может не соответствовать осно-

вам морали и научным понятиям современности.

Примеряя на себя словесную схему Пастернака, Иван Елагин пережил много тяжелых минут разочарования, о чем он сам свидетельствует без чванства и честолюбия, а с искренностью человека с трезвым умом и строгой критикой к себе.

„За то, что я прикинулся поэтом,
За то, что музу называл сестрой,
За то, что в мир ушел переодетым
В чужое платье, на чужой покрой —
Мой каждый слог мне ложем был Прокруста!
Мой каждый стих рождался, чуть дыша!
Смирительной рубашкою искусства
Спеленута свободная душа.
Мой горизонт словами был заставлен,
Они все солнце заградили мне!
Затем, чтоб стих был набело исправлен,
Вся жизнь моя заброшена вчерне".

Так настоящий поэт относится к возложенному им на себя долгу.

Несомненно, этот мучительный период Иван Елагин переживал в первые дни своего творчества — «по типу» Пастернака, когда он писал: «О снег врасплох», «У зимних яблонь», «Отталкивался дым», «Так. Маскарад». «Там улица», «Апрель» и т. д.

Уложиться со своим, иным масштабом видения, в готовые специально ограниченные рамки квартирного горизонта, с проекцией в особую, философски созданную, сферу деталей, трудно. Чужая форма не соответствует своему содержанию, свое содержание не выражается в готовой форме, а будучи в нее втиснуто произвольно, искажается, приобретая тематическое сходство с тем, о чем писал Пастернак. Это несоответствие начинает обнаруживаться в лексической странности, —появляются «чужие слова»: «ветка», «лист», «капля», «снег», «карниз», «сад», «крыша», «навзрыд», «наугад», «непрогляд» и т. д. и т. д. Настоящему поэту становится стыдно, точно он их украл. Казалось бы — чушь, ведь их не Пастернак выдумал, до него они существовали несколько веков и все-таки «ветка», «лист», «капля», »сад». Пастернака, а не Елагина.

—Вот, почти рядом, в одной строчке моя «капля», а в

другой чужая «капля», — может с недоумением рассуждать поэт, — и почему-то его «каплю» не сделать своей . Ведь эти чужие «капли» увидит и опытный читатель!

Да, увидит, потому что такова природа слова.

«И ты, Брут!» — вот три слова, ничего не значащие в своей абстракции, но навеки-вечные сияные идеей, заложенной в их сочетании. Никакой контекст не разрушит их окаменелости и во все времена эта фраза будет принадлежать только Цезарю.

„Жить стало лучше, жить стало веселее“ — удивительно убог этот словесный ряд всего из трех варьированных словесных знаков. Но как велика их идейная нагрузка! В этом „изречении“ уродливо выперли огромным капом (древесный уродливый наплыв на стволе): циничная ложь, беспримерная наглость, рабство без права быть немым, но с обязанностью возносить презираемого, в нем безграничное угнетение и непреоборимый страх, реки слез и горы трупов... Этот отвратительный словесный ряд во веки веков будет принадлежать только его автору.

То же самое происходит и со словом. Однажды пройдя через яркий образ, оно сохраняет на себе свою часть прежней идейной нагрузки в других сочетаниях.

Слово — символ идеи, а не только абстракция. Определенная система слов — выражение системы воззрения. Оригинальное воззрение сообщает свой собственный аромат слову, и оно как бы обрастает отличительными признаками данного носителя идеи. Вот почему слово „сад“ у Пастернака будет свое и тоже слово — „сад“ у Елагина будет свое, и они будут различимы автором и читателем.

Много молодых поэтов, в начале своего творческого пути, появляются в чужих одеждах. Несмотря на сознательную, отчаянную борьбу с самим собой, не избежал этого этапа и Иван Елагин. В указанных выше его стихотворениях торчат чужеродные слова. Однако, его решительное самоборство, крепкие бомбежки и печальная судьба скитальца вскоре помогли ему найти свои собственные слова, слова Елагина, которых никто не в состоянии подменить: „сады“, „чердак“, „колесо“, „про-

волока“ , „камаринская“ , „танк“ , „вянет“ и др. Среди тысяч „камаринских“ и „колес“, опытный читатель или критик безошибочно укажут на „камаринскую“ и „колесо“ Елагина.

Так создается свой собственный лексический арсенал поэта, не считая постоянного наличия специфических слов — символов идей, присущих только его миропониманию. Такой арсенал успешно заполняется Елагиным вместе с ростом его социально-философского кругозора.

Иногда в литературоведении употребляется слово — „оттолкнутся“ Например, Иван Елагин „оттолкнулся“ от Пастернака. Это образное выражение означает как бы взлет птицы, отталкивающейся прыжком от земли, чтобы набрать высоту. Взлет без точки опоры не мыслим. Точка опоры выбрана Иваном Елагиным удачно. На стихах Пастернака он окрылился, сделал разбег и поднялся в небесную лазурь.

— Летит! Божией милостью! . — аплодируя кричат „земные“ и парящие.

Но куда он летит и что он за птица? Коршун ли, набивающий свой зоб теплым мясом своей жертвы; ворон ли, выклевывающий глаза у придорожных трупов, „напрасно дожидающих могил“, или символ Святого Духа— голубь, приносящий человечеству ветку душевного мира и благословение Божие на подвиг служения любви и правде, Вселенской Правде? Кто вы, поэт? Ведь не цыпленок жареный!

И куда вы летите? „В бездну с чортова колеса!“ ? „С темного моста да прямо в реку“ ? Это же не образ мира. Вы покинули готовый образный мир своего учителя (плохой ли, хороший ли), где ваш? В одинокой комнате без окна или с родным народом на каторге, „за колючей проволокой ночи?“ В стерилизованной банке бесстрастия или в буре возмущения за попранную правду? За что вы? За смертоносную атомную силу материи или за Божию благодать Духа? За греховное огульное отрицание прообраза Божия — человека или только против служителей зла? На каких началах зиждится ваш поэтический образ бытия? Без него нет жизни поэта и негде ему спуститься на творческий пир и отдых. Хаос? Но это не база поэта.

Ваш учитель в клетке у бездушного дрессировщика, для которого он не более как попугай с красивым оперением, годный для пропаганды лжи, или соловей, мобилизованный петь по нотам пятилетки.

— Попка, скажи, что ты дурак! — приказывают ему.

—Я урод, и счастья сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?

Отвечает он двусмысленно.

—Скажи, попка, пя-я-ти-и-ле-тка!

—„ Разве я не мерюсь пятилеткой
Не падаю и не подымаюсь с ней.
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой костности костней?“ —

Уже менее двусмысленно реагирует он.

Творческая жизнь на костылях симуляции! Но такова сила хлыста, заставляющая даже царя зверей прыгать сквозь огненное кольцо и таков порядок там, в железной клетке, да еще за железным занавесом.

Для нас же он птица марабу, до конца „ночи — жизни длинной“ погруженная в дремотную деталь. И нет у у птицы марабу веры в жизни светлый день, хотя она и верит в прирожденный инстинкт народа..

Мы видели, что Иван Елагин, говоря поэтическим языком своего учителя, служил его идеям: детали, своему одинокому «я» и, осуждая толпу, ждал вместе с учителем, что „прирожденный инстинкт“ этот „старый подхалим“ возвратит человечество из безумного космического похода, возвратит в реальную „нужность“, в самих себя и снова присоединит всех ушедших к нам... двоим.

Поэты — учитель и ученик огульно ненавидели мученика и мучителя, как образ космополита человека, — эту „змею, вежливо жалящую в овсе“. Они ее категорически не допускали в строки своей поэзии, как самый скверный вульгаризм. Они были марсианами на чужой планете. Случайно обнаруживая местных обитателей, прятались от них и, наблюдая из-за прикрытия, в страхе, полушопотом говорили: — „Это они“...

„Так. Детство ранено навылет,
Остановись в лесу, шепни:

Зачем они березы пилят
И выкорчевывают пни?

Калитку, дом и воздух самый
Не тронули шестнадцать зим.
Но шум осинника за ямой
Был жуток и невыразим"...

(Елагин).

Чувствовало Богом проклятое дерево, что его сучья будут призваны на службу „самых демократических", „самых передовых", „самых прогрессивных вешателей".

Но Бог судья поэтам, у некоторых из них есть еще своя тайная правда; они совсем не похожи ни на вешающих Россию, ни на любящих Россию пространство, Россию мечту, с ее зеленью и „шелестом в овсах", или на ненавидящих русский народ. В форме ли с малиновыми петлицами, в форме ли каторжан; с красной ли книжечкой „красного дворянина", с волчьим ли паспортом „врага народа", русский народ для них: „все одна советская сволочь" И нет у этого народа ни ума, ни культуры, ни Бога, так как все это эмигрировало оттуда вместе с ними — патриотами пространства. В этом они убеждены. У этих уже свой образ мира, не поэтический, не из школы Пастернака или иного поэта, а сатанический из школы зла.

Может быть, прямой путь Ивана Елагина идет от Пастернака в эту школу зла? Такая мысль, на первый взгляд, не является алогичной.

О, нет! Еще символизм раздувал Богом зароненную искру в пылкую душу поэта Ивана Елагина. Еще тогда, в сравнениях минувшего с настоящим, он понимал, что теперь:

„Не скроет мстительную шпагу
Мелькнувший колокол плаща.
А ты... ты не пройдешь и шагу,
Не оглядясь из-за плеча!

Лишь в комнате, за плотной шторой,
Ты пожалеешь, человек,
О той свободе, о которой
Забыли в этот черный век!"

(Елагин).

Позднее, в школе Пастернака он не стал всецело холодным философом, перед ним вставали не только бездушные образа деталей, но и прекраснейшие примеры добродетели:

«Нет, ласточке не улететь в Египет,
И все до тла Счастливый Принц раздаст.»

(Елагин)

Или:

«Когда мы птицу хоронили
И крестик ставили над ней».

(Елагин)

Нежная и скромная его любовь полна религиозного трепета:

«А мы стояли у перил,
У срезанного края кручи,
А ветер тучи перерыл
И посбивал деревья в кучи.

И прядь волос — твоих волос —
Мне ветер даровал как милость.
Как время не остановилось?
Как сердце не оборвалось?»

(Елагин)

Нет, нет. На всем его творческом пути есть добрые знаки веры Христовой и даже в холодных покоях пастернаковского образного мира, он не снимал креста. Иван Елагин знал, что рядом за стеной одинокого покоя учителя, есть люди любящие и страдающие, и другие — нелюбящие и угнетающие. Он был с первыми, но обо всем этом, из вежливости, не напоминал учителю, чтобы не нарушать гармонии его «деталей».

Из образного мира своего учителя, поэт вышел под градом бомб, через трупы, по грудам развалин и, пробираясь вдоль «обреченных оград», в неизвестность, «скитаться в скалах и насыпях», опознавал свой собственный образ мира:

«И сразу — от белых камней
До кустика — все опознано!
О, Сольвейг! Выйди ко мне,
Если еще не поздно!» — восклицает он.

Гром войны заглушил человеческий разум, распинал душу страхом. Все пожирающий огонь, трупы детей и старцев, исступленный крик матерей, бегство обезумевших толп в ямы, в неизвестность.

Через охватившее поэта чувство глубочайшего сострадания к уничтожаемому человечеству, он пришел в буйное негодование:

«Милый ад: ни пушек, ни ружей.
Старый ад с хромым сатаной!
Чем он хуже кровавой лужи,
Именуемой — шар земной?» — вопрошает он.

Оброненная Богом искра в его душу, обращалась в пламя, полыхающее страстью любви.

В его творческий образный мир хлынули не мертвые детали быта и природы, а воплощения скорби, страданий и мук, крестных мук! Перед ним возникал человек не в сопровождении толпы любопытных, а среди диких свор зверья. В невыразимом изнурении человек нес тяжелый крест свой. Хищники оглушали его своим потрясающим рыком и рвали его несчастное тело. Кровь лилась.
Тут же справлялся безобразный пир в честь безобразной развратницы нищеты. Даже:

«Осунувшись и сгорбясь и унизясь,
Дома толпятся по очередям.
И нищеты жестокой катехизис
Твердит зима базарным площадям.
А рядом бой. Полнеба задымил
Он повествует нам высоким слогом
О родине. И трупы по дорогам
Напрасно дожидаются могил.»

(Елагин)

С тех пор Иван Елагин лишен пастернаковского философского покоя. Он бьется в муках сострадания любви. Пастернаковская «деталь» перед ним предстает уже не «иссурмленной рядном красивых трепещущих курсивов», а в кровоподтеках.

Поэт заговорил своими собственными словами и своим собственным голосом, не заговорил, а закричал, в непреоборимом отчаянии. Он обличал зло. Обвинения его убийственны и произнесены с сокрушительной силой. На-

зывая Европу чортовым колесом, говорит:

«По тебе пробегают танки
И пожар по тебе клубит,
И уже отдаленный ангел
Над тобой в вышине трубит.
Этот день — он настанет скоро!
И в последнем огне горя,
Разлетятся твои соборы
Министерства и лагеря..
Но не слышит земная челядь,
Что уже распаялась ось:
Что-то мерит, и что-то делит,
Что-то оптом, и что-то врозь..
И молиться уже бесполезно,
Можно только кричать в небеса:
Зашвырни нас куда-нибудь в бездну,
В бездну с чортова колеса!»

(Елагин)

Этот итог, подведенный поэтом всем «мирным» конференциям и всем «мирным» совещаниям — человечество у края бездны.

Однако, поэтический мир Ивана Елагина остается построенным по катехизису жестокой нищеты, если он будет состоять только из одих обличений.

Что вы за птица, поэт? Коршун или голубь? Вы против зла? Так помогите добру, послужите ему в тяжкой борьбе со злом, и тогда на смену отчаянию придет к Вам вера в светлый день жизни. Тогда Ваш творческий мир будет завершон и он подскажет, как:

«Побеждать! И видеть Южный Крест,
Рукою Бога поднятый над нами!»..

(Елагин)

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
О Литературном Сборнике	3
О. Анстей. Отчий дом	6
И. Елагин. Стихи	13
А. Неймирок. Стихи	15
Г. Андреев. Покой	17
Н. Вартанов. Однажды ночью	24
О. Краснопольский. Судьба	33
В. Марков. Джон Стайнбек	41
Д. Стайнбек. После суда Линча	43
А. Горностаев. Поэзия Н. А. Некрасова	49
В. Марков. Эмили Дикинсон	64
Р. Менский. Путь и мир поэта	76

В ближайшее время выходит из печати

С. Павлов

«ПОД ЮЖНЫМ КРЕСТОМ»

(Австралийские рассказы.)

Verlag „ECHO"
Regensburg, Ganghofer-Siedlung
Brentanostr. 6.
Authorized by EUCOM Civil Affairs
Division
License from July 14, 1947

Цена 10 марок